

Оглавление

Денис Иванович Фонвизин - Недоросль	2- 42
Николай Михайлович Карамзин - Бедная Лиза	43-50
- Остров Борнгольм	50–57
Михаил Лермонтов - <ШТОСС>	58-66
В.М.Жирмунский и Н.А.Сигал. - У истоков европейского романтизма	66-87

Денис Иванович Фонвизин. Недоросль

Гос.изд. детской литературы министерства просвещения РСФСР, Л., 1952
OCR: NVE

(Примечание. Текст изобилует словами и выражениями, которые легко
принять за ошибки OCR. Тем не менее, это - истинный текст автора,
просто именно так и говорили в 1782 году ! Качество проверки
гарантирую.)

НЕДОРОСЛЬ. Комедия в пяти действиях.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Простаков.

Гж.* Простакова, жена его.

Митрофан, сын их, недоросль. **

Еремеевна, мама*** Митрофанова.

Правдин.

Стародум.

Софья, племянница Стародума.

Милон.

Г-н Скотинин, брат гж. Простаковой.

Кутейкин, семинарист.

Цыфиркин, отставной сержант.

Вральман, учитель.

Тришка, портной.

Слуга Простакова.

Камердинер Стародума.

Действие в деревне Простаковых.

* Гж. - сокращенное написание слова "госпожа". В дальнейшем принято
более употребительное сокращение - г-жа.

** Так официально назывались дворяне, преимущественно молодые, не
получившие документа об образовании и не поступившие на службу. Вместе
с тем слово "недоросль" обозначало любого дворянина, не достигшего
совершеннолетия.

*** Мама, то есть кормилица.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Г-жа Простакова, Митрофан, Еремеевна

Г-жа Простакова (осматривая кафтан на Митрофане). Кафтан весь испорчен. Еремеевна, введи сюда мошенника Тришку. (Еремеевна отходит.) Он, вор, везде его обузил. Митрофанушка, друг мой, я чаю, тебя жмет до смерти. Позови сюда отца.

Митрофан отходит.

ЯВЛЕНИЕ II

Г-жа Простакова, Еремеевна, Тришка

Г-жа Простакова (Тришке). А ты, скот, подойди поближе. Не говорила ль я тебе, воровская харя, чтоб ты кафтан пустил шире. Дитя, первое, растет, другое, дитя и без узкого кафтана деликатного сложения. Скажи, болван, чем ты оправдаешься?

Тришка. Да ведь я, сударыня, учился самоучкой. Я тогда же вам докладывал: ну да извольте отдавать портному.

Г-жа Простакова. Так разве необходимо надобно быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько. Экое скотское рассуждение!

Тришка. Да ведь портной-то учился, сударыня, а я нет.

Г-жа Простакова. Еще он же и спорит. Портной учился у другого, другой у третьего, да первоет портной у кого же учился? Говори, скот.

Тришка. Да первоет портной, может быть, шил хуже и моего.

Митрофан (вбегает). Звал батюшку. Изволил сказать: тотчас.

Г-жа Простакова. Так поди же вытащи его, коли добром не дозовешься.

Митрофан. Да вот и батюшка.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Простаков

Г-жа Простакова. Что, что ты от меня прятаться изволишь? Вот, сударь, до чего я дожила с твоим потворством. Какова сыну обновка к дядину стовору? Каков кафтанец Тришка сшить изволил?

Простаков (от робости запинаясь). Ме... мешковат немного.

Г-жа Простакова. Сам ты мешковат, умная голова.

Простаков. Да я думал, матушка, что тебе так кажется.
Г-жа Простакова. А ты сам разве ослеп?
Простаков. При твоих глазах мои ничего не видят.
Г-жа Простакова. Вот каким муженьком наградила меня господь: не смыслит сам разобрать, что широко, что узко.
Простаков. В этом я тебе, матушка, и верил, и верю.
Г-жа Простакова. Так верь же и тому, что я холопам потакать не намерена. Поди, сударь, и теперь же накажи...

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Скотинин

Скотинин. Кого? за что? В день моего словора! Я прошу тебя, сестрица, для такого праздника отложить наказание до завтра; а завтра, коль изволишь, я и сам охотно помогу. Не будь я Тарас Скотинин, если у меня не всякая вина виновата. У меня в этом, сестрица, один обычай с тобою. Да за что ж ты так прогневалась?
Г-жа Простакова. Да вот, братец, на твои глаза пошлюсь. Митрофанушка, подойди сюда. Мешковат ли этот кафтан?
Скотинин. Нет.
Простаков. Да я и сам уже вижу, матушка, что он узок.
Скотинин. Я и этого не вижу. Кафтанец, брат, шит изряднехонько.
Г-жа Простакова (Тришке). Выйди вон, скот. (Еремеевне.) Поди ж, Еремеевна, дай позавтракать ребенку. Ведь, я чаю, скоро и учителя придут.
Еремеевна. Он уже и так, матушка, пять булочек скушать изволил.
Г-жа Простакова. Так тебе жаль шестой, бестия? Вот какое усердие! Изволь смотреть.
Еремеевна. Да во здравие, матушка. Я ведь сказала это для Митрофана же Терентьевича. Протосковал до самого утра.
Г-жа Простакова. Ах, мати божия! Что с тобою сделалось, Митрофанушка?
Митрофан. Так, матушка. Вчера после ужина схватило.
Скотинин. Да, видно, брат, поужинал ты плотно.
Митрофан. А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал.
Простаков. Помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил.
Митрофан. Да что! Солонины ломтика три, да подовых, не помню, пять, не помню, шесть.
Еремеевна. Ночью то и дело испить просил. Квасу целый кувшинец выкушать изволил.
Митрофан. И теперь как шальной хожу. Ночь всю такая дрянь в глаза лезла.
Г-жа Простакова. Какая ж дрянь, Митрофанушка?
Митрофан. Да то ты, матушка, то батюшка.
Г-жа Простакова. Как же это?
Митрофан. Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку.
Простаков (в сторону). Ну! беда моя! сон в руку!
Митрофан (разнежась). Так мне и жаль стало.
Г-жа Простакова (с досадою). Кого, Митрофанушка?
Митрофан. Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку.
Г-жа Простакова. Обойми меня, друг мой сердечный! Вот сынок, одно мое утешение.
Скотинин. Ну, Митрофанушка! Ты, я вижу, матушкин сынок, а не батюшкин.
Простаков. По крайней мере я люблю его, как надлежит родителю, то-то умное дитя, то-то разумное, забавник, затейник; иногда я от него вне себя, от радости сам истинно не верю, что он мой сын, Скотинин. Только теперь забавник наш стоит что-то нахмурясь.

Г-жа Простакова. Уж не послать ли за доктором в город?
Митрофан. Нет, нет, матушка. Я уж лучше сам выздоровлю. Побегутка теперь на голубятню, так авось либо...
Г-жа Простакова. Так авось либо господь милостив. Поди, порезвись, Митрофанушка.

Митрофан с Еремеевной отходят.

ЯВЛЕНИЕ V

Г-жа Простакова, Простаков, Скотинин

Скотинин. Что ж я не вижу моей невесты? Где она? Вечеру быть уже стовору, так не пора ли ей сказать, что выдают ее замуж?

Г-жа Простакова. Успеет, братец. Если ей это сказать прежде времени, то она может еще подумать, что мы ей докладываемся. Хотя по муже, однако, я ей свойственница; а я люблю, чтоб и чужие меня слушали. Простаков (Скотинину). Правду сказать, мы поступили с Софьюшкой, как с сущою сироткой. После отца осталась она младенцем. Тому с полгода, как ее матушке, а моей сватьюшке, сделался удар...

Г-жа Простакова (показывает, будто крестит сердце). С нами сила крестная.

Простаков. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка ее, г. Стародум, поехал в Сибирь; а как несколько уже лет не было о нем ни слуху, ни вести, то мы и считаем его покойником. Мы, видя, что она осталась одна, взяли ее в нашу деревеньку и надзираем над ее имением, как над своим.

Г-жа Простакова. Что ты сегодня так разоврался, мой батюшка? Еще братец может подумать, что мы для интересу ее к себе взяли.

Простаков. Ну как, матушка, ему это подумать? Ведь Софьюшкино недвижимое имение нам к себе придвинуть не можно.

Скотинин. А движимое хотя и выдвинуто, я не челобитчик. Хлопотать я не люблю, да и боюсь. Сколько меня соседи ни обижали, сколько убытку ни делали, я ни на кого не бил челом, а всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру с своих же крестьян, так и концы в воду.

Простаков. То правда, братец: весь околоток говорит, что ты мастерски оброк собираешь.

Г-жа Простакова. Хоть бы ты нас поучил, братец батюшка; а мы никак не умеем. С тех пор, как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем. Такая беда!

Скотинин. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу, лишь жените меня на Софьюшке.

Г-жа Простакова. Неужели тебе эта девчонка так понравилась?

Скотинин. Нет, мне нравится не девчонка.

Простаков. Так по соседству ее деревеньки?

Скотинин. И не деревеньки, а то, что в деревеньках-то ее водится и до чего моя смертная охота.

Г-жа Простакова. До чего же, братец?

Скотинин. Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни одной, которая, став на задни ноги, не была бы выше каждого из нас целой головою.

Простаков. Странное дело, братец, как родня на родню походить может!

Митрофанушка наш весь в дядю - и он до свиней сызмала такой же охотник, как и ты. Как был еще трех лет, так, бывало, увидя свинку, задрожит от радости.

Скотинин. Это подлинно диковинка! Ну пусть, братец, Митрофан любит свиней для того, что он мой племянник. Тут есть какое-нибудь сходство; да от чего же я к свиньям так сильно пристрастился?

Простаков. И тут есть же какое-нибудь сходство. Я так рассуждаю.

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же и Софья.

Софья вошла, держа письмо в руках и имея веселый вид.

Г-жа Простакова (Софье). Что так весела, матушка, чему обрадовалась? Софья. Я получила сейчас радостное известие. Дядюшка, о котором столь долго мы ничего не знали, которого я люблю и почитаю, как отца моего, на сих днях в Москву приехал. Вот письмо, которое я от него теперь получила.

Г-жа Простакова (испугавшись, с злобою). Как! Стародум, твой дядюшка, жив! И ты изволишь затевать, что он воскрес! Вот изрядный вымысел! Софья. Да он никогда не умирал.

Г-жа Простакова. Не умирал! А разве ему и умереть нельзя? Нет, сударыня, это твои вымыслы, чтоб дядюшкою своим нас застрашать, чтоб мы дали тебе волю. Дядюшка-де человек умный; он, увидя меня в чужих руках, найдет способ меня выручить. Вот чему ты рада, сударыня; однако, пожалуй, не очень веселись; дядюшка твой, конечно, не воскресал.

Скотинин. Сестра! Ну, да коли не умирал?

Простаков. Избави боже, коли он не умирал!

Г-жа Простакова (к мужу). Как не умирал! Что ты бабушку путаешь? Разве ты не знаешь, что уж несколько лет от меня его и в памятцах за упокой поминали? Неужто-таки и грешные-то мои молитвы не доходили! (К Софье.) Письмецо-то мне пожалуй. (Почти вырывает.) Я об заклад бьюсь, что оно какое-нибудь амурное. И догадываюсь, от кого. Это от того офицера, который искал на тебе жениться и за которого ты сама итти хотела. Да которая бестия без моего спросу отдает тебе письма! Я доберусь. Вот до чего дожили. К девушкам письма пишут! Девушки грамоте умеют!

Софья. Прочтите его сами, сударыня. Вы увидите, что ничего невиннее быть не может.

Г-жа Простакова. Прочтите его сами! Нет, сударыня, я, благодаря бога, не так воспитана. Я могу письма получать, а читать их всегда велю другому. (К мужу.) Читай.

Простаков (долго смотря). Мудрено.

Г-жа Простакова. И тебя, мой батюшка, видно, воспитывали, как красную девицу. Братец, причти, потрудись.

Скотинин. Я от роду ничего не читывал, сестрица! Бог меня избавил этой скуки.

Софья. Позвольте мне прочесть.

Г-жа Простакова. О, матушка! Знаю, что ты мастерица, да лих не очень тебе верю. Вот, я чаю, учитель Митрофанушкин скоро придет. Ему велю...

Скотинин. А уж зачали молодца учить грамоте?

Г-жа Простакова. Ах, батюшка братец! Уж года четыре как учится. Нечего, грех сказать, чтоб мы не старались воспитывать Митрофанушку. Троиим учителям денежки платим. Для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова, Кутейкин. Арихметике учит его, батюшка, один отставной сержант Цыфиркин. Оба они приходят сюда из города. Ведь от нас и город в трех верстах, батюшка. По-французски и всем наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман. Этому по триста рубликов на год! Сажаем за стол с собою. Белье его наши бабы моют. Куда надобно - лошадь. За столом стакан вина. На ночь сальная свеча, и парик направляет наш же Фомка даром.

Правду сказать, и мы им довольны, батюшка братец. Он ребенка не неволит. Ведь, мой батюшка, пока Митрофанушка еще в недорослях, пота* его и понежить а там лет через десяток, как войдет, избави боже, в службу,

всего натерпится. Как кому счастье на роду написано, братец. Из нашей же фамилии Простаковых смотри-тка, на боку лежа, летят себе в чины.** Чем же плоше их Митрофанушка? Ба! Да вот пожаловал кстати дорогой наш постоялец.

* До тех пор.

** Дворяне в XVIII веке могли получать чины и звания не служа, числясь в многолетнем отпуске.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и Правдин

Г-жа Простакова. Братец, друг мой! Рекомендую вам дорогого гостя нашего, господина Правдина; а вам, государь мой, рекомендую брата моего.

Правдин. Радуюсь, сделав ваше знакомство.

Скотинин. Хорошо, государь мой! а как по фамилии? Я не дослышал.

Правдин. Я называюсь Правдин, чтобы вы дослышали.

Скотинин. Какой уроженец, государь мой, где деревеньки?

Правдин. Я родился в Москве, ежели вам то знать надобно, а деревни мои в здешнем наместничестве.

Скотинин. А смею ли спросить, государь мой, имени и отчества не знаю, - в деревеньках ваших водятся ли свинки?

Г-жа Простакова. Полно, братец, о свиньях-то начинать. Поговорим-ка лучше о нашем горе. (К Правдину.) Вот, батюшка! Бог велел нам взять на свои руки девицу. Она изволит получать грамотки от дядюшек. К ней с того света дядюшки пишут. Сделай милость, мой батюшка, потрудись, прочти всем нам вслух.

Правдин. Извините меня, сударыня, Я никогда не читаю писем без позволения тех, к кому они писаны.

Софья. Я вас о том прошу. Вы меня тем очень одолжите.

Правдин: Если вы приказываете. (Читает.) "Любезная племянница! Дела мои принудили меня жить несколько лет в разлуке с моими ближними; а дальность лишила меня удовольствия иметь о вас известий! Я теперь в Москве, прожив несколько лет в Сибири. Я могу служить примером, что трудами и честностью состояние свое сделать можно. Сими средствами, с божей помощью счастья, нажил я десять тысяч рублей доходу..."

Скотинин и оба Простаковы. Десять тысяч!

Правдин (читает). "Которым тебя, моя любезная племянница, тебя делаю наследницею..."

Г-жа Простакова. Тебя наследницею!

Простаков. Софью наследницею!

Скотинин. Ее наследницею!

Г-жа Простакова (бросаясь обнимать Софью) Поздравляю, Софьюшка!

Поздравляю, душа моя! Я вне себя с радости! Теперь тебе надобен жених.

Я, я лучшей невесты и Митрофанушке не желаю. То-то дядюшка! То-то отец родной! Я и сама все-таки думала, что бог его хранит, что он еще здравствует.

Скотинин (протянув руку). Ну, сестрица, скорей же по рукам.

Г-жа Простакова (тихо Скотинину). Пстой, братец. Сперва надобно спросить ее, хочет ли еще она за тебя выйти?

Скотинин. Как! Что за вопрос! Неужто ты ей докладываться станешь?

Правдин. Позвольте ли письмо дочитать?

Скотинин. А на что? Да хоть пять лет читай, лучше десяти тысяч не дочитаешься.

Г-жа Простакова (к Софье). Софьюшка, душа моя! пойдем ко мне в спальню. Мне крайняя нужда с тобой поговорить. (Увела Софью.)

Скотинин. Ба! Так я вижу, что сегодня стовору-то вряд и быть ли.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Правдин, Простаков, Скотинин, Слуга

Слуга (к Простакову, запыхавшись). Барин, барин! солдаты пришли, остановились в нашей деревне.

Простаков. Какая беда! Ну! разорят нас до конца.

Правдин. Чего вы испугались?

Простаков. Ах ты, отец родной! Мы уж видали виды. Я к ним и появиться не смею.

Правдин. Не бойтесь. Их, конечно, ведет офицер, который не допустит ни до какой наглости. Пойдем к нему со мною. Я уверен, что вы робеете напрасно.

Правдин, Простаков и слуга отходят.

Скотинин. Все меня одного оставили. Пойти было прогуляться на скотный двор.

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Правдин, Милон

Милон. Как я рад, мой любезный друг, что нечаянно увиделся с тобой! Скажи, каким случаем...

Правдин. Как друг, открою тебе причину моего здесь пребывания. Я определен членом в здешнем наместничестве. Имею повеление объехать здешний округ; а притом, из собственного подвига* сердца моего, не оставляю замечать тех злонравных невежд, которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно. Ты знаешь образ мыслей нашего наместника**. С какою ревностью помогает он страждущему человечеству! С каким усердием исполняет он тем самым человеколюбивые виды вышней власти! Мы в нашем краю сами испытали, что где наместник таков, каковым изображен наместник в Учреждении***, там благосостояние обитателей верно и надежно. Я живу здесь уже три дня. Нашел помещика дурака бесчисленного, а жену презлую фурию, которой адский нрав делает несчастье целого их дома. Ты что задумался, мой друг, скажи мне, долго ль здесь останешься?

Милон. Через несколько часов иду отсюда.

Правдин. Что так скоро? Отдохни.

Милон. Не могу. Мне велено солдат вести без замедления... Да сверх того я сам горю нетерпением быть в Москве.

Правдин. Что причиною?

* Побуждения.

** Россия в 1775 году была разделена на пятьдесят губерний. В отдельных случаях две-три губернии объединялись в руках представителя верховной власти - наместника, при котором создавалось правление.

Правдин был членом правления наместничества.

*** Закон о губерниях назывался "Учреждение для управления губерний Российской империи". Он был издан в 1775 году.

Милон. Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг! Я влюблен, и имею счастье быть любим. Больше полугода, как я в разлуке с тою, которая мне дороже всего на свете, и, что еще горестнее, ничего не слышал я о ней во все это время. Часто, приписывая молчание ее холодности, терзался я горестию; но вдруг получил известие, которое меня поразило. Пишут ко мне, что, по смерти ее матери, какая-то дальняя родня увезла ее в свои деревни. Я не знаю, ни кто, ни куда. Может быть, она теперь в руках каких-нибудь корыстолюбцев, которые, пользуясь сиротством ее, содержат ее в тиранстве. От одной этой мысли я вне себя.

Правдин. Подобное бесчеловечие вижу и в здешнем доме. Ласкаюсь*, однако, положить скоро границы злобе жены и глупости мужа. Я уведомил уже обо всем нашего начальника и не сомневаюсь, что унять их возьмутся меры.

* Ласкаю себя мыслью, надеюсь.

Милон. Счастливы ты, мой друг, будучи в состоянии облегчать судьбу несчастных. Не знаю, что мне делать в горестном моем положении.

Правдин. Позволь мне спросить об ее имени.

Милон (в восторге). А! вот она сама.

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Софья

Софья. Милон! тебя ли я вижу?

Правдин. Какое счастье!

Милон. Вот та, которая владеет моим сердцем. Любезная Софья! Скажи мне, каким случаем здесь нахожу тебя?

Софья. Сколько горестей терпела я со дня нашей разлуки! Бессовестные мои свойственники...

Правдин. Мой друг! не спрашивай о том, что столько ей прискорбно... Ты узнаешь от, меня, какие грубости...

Милон. Недостойные люди!

Софья. Сегодня, однакож, в первый раз здешняя хозяйка переменяла со мной свой поступок. Услыша, что дядюшка мой делает меня наследницею, вдруг из грубой и бранчивой сделалась ласковою до самой низкости, и я по всем ее обинякам вижу, что прочит меня в невесты своему сыну.

Милон (с нетерпением). И ты не изъявила ей тот же час совершенного презрения?..

Софья. Нет...

Милон. И не сказала ей, что ты имеешь сердечные обязательства, что...

Софья. Нет...

Милон. А! теперь я вижу мою погибель. Соперник мой счастлив! Я не отрицаю в нем всех достоинств. Он, может быть, разумен, просвещен, любезен; но чтоб мог со мною сравниться в моей к тебе любви, чтоб... Софья (усмехаясь). Боже мой! Если б ты его увидел, ревность твоя довела б тебя до крайности!

Милон (с негодованием). Я воображаю все его достоинства.

Софья. Всех и вообразить не можешь. Он хотя и шестнадцати лет, а достиг уже до последней степени своего совершенства и дале не пойдет. Правдин. Как дале не пойдет, сударыня? Он доучивает часослов; а там, думать надобно, примутся и за псалтирь*.

* Часослов и псалтирь - церковные книги, по которым обучали грамоте, заставляя затверживать текст наизусть.

Милон. Как! таков-то мой соперник! А! любезная Софья! на что ты и шуткою меня терзаешь? Ты знаешь, как легко страстный человек огорчается и малейшим подозрением. Скажи ж мне, что ты ей отвечала?

Здесь Скотинин идет по театру, задумавшись, и никто его не видит.

Софья. Я сказала, что судьба моя зависит от воли дядюшкиной, что он сам сюда приехать обещал в письме своем, которого (к Правдину) не позволил нам дочитать господин Скотинин.

Милон. Скотинин!

Скотинин. Я !

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Скотинин

Правдин. Как вы подкрались, господин Скотинин! Этого я от вас и не чаял.

Скотинин. Я проходил мимо вас. Услышал, что меня кличут, я и откликнулся. У меня такой обычай: кто вскрикнет - Скотинин! а я ему: я! Что вы, братцы, и заправду? Я сам служивал в гвардии и отставлен капралом. Бывало, на съезжей в переключке как закричат: Тарас Скотинин! а я во все горло: я!

Правдин. Мы вас теперь не кликали, и вы можете идти, куда шли.

Скотинин. Я никуда не шел, а брожу, задумавшись. У меня такой обычай, как что заберу в голову, то из нее гвоздем не выколотишь. У меня, слышь ты, что вошло в ум, тут и засело. О том вся и дума, то только и вижу во сне, как наяву, а наяву, как во сне.

Правдин. Что ж бы вас так теперь занимало?

Скотинин. Ох, братец, друг ты мой сердечный! Со мною чудеса творятся. Сестрица моя вывезла меня скоро-наскоро из моей деревни в свою, а коли так же проворно вывезет меня из своей деревни в мою, то могу пред целым светом по чистой совести сказать: ездил я ни по што, привез ничего.

Правдин. Какая жалость, господин Скотинин! Сестрица ваша играет вами, как мячиком.

Скотинин (озлобясь). Как мячиком? Оборони бог; да я и сам зашвырну ее так, что целой деревней в неделю не отыщут.

Софья. Ах, как вы рассердились!

Милон. Что с вами сделалось?

Скотинин. Сам ты, умный человек, порассуди. Привезла меня сестра сюда

жениться. Теперь сама же подъехала с отводом. "Что-де тебе, братец, в жене; была бы-де у тебя, братец, хорошая свинья". Нет, сестра! Я и своих поросят завести хочу. Меня не проведешь.

Правдин. Мне самому кажется, господин Скотинин, что сестрица ваша помышляет о свадьбе, только не о вашей.

Скотинин. Эка притча! Я другому не помеха. Всякий женись на своей невесте. Я чужую не трону, и мою чужой не тронь же. (Софье.) Ты не бойсь, душенька. Тебя у меня никто ни перебьет.

Софья. Это что значит! Вот еще новое!

Милон (вскричал). Какая дерзость!

Скотинин (к Софье). Чего ж ты испугалась?

Правдин (к Милону). Как ты можешь сердиться на Скотинина!

Софья (Скотинину). Неужели суждено мне быть вашей женою?

Милон. Я насилу могу удержаться!

Скотинин. Суженого конем не объедешь, душенька! Тебе на свое счастье грех пенять. Ты будешь жить со мною припеваючи. Десять тысяч твоего доходу! Эко счастье привалило; да я столько родясь и не видывал; да я на них всех свиней со бела света выкуплю; да я, слышь ты, то сделаю, что все затрубят: в здешнем-де околотке и житье одним свиньям.

Правдин. Когда же у вас могут быть счастливы одни только скоты, то жене вашей от них и от вас будет худой покой.

Скотинин. Худой покой! Ба! Ба! Ба! да разве светлиц у меня мало? Для нее одной отдам угольную с лежанкой. Друг ты мой сердешный! коли у меня теперь, ничего не видя, для каждой свинки клевок* особливый, то жене найду светелку.

*клев - хлев, помещение для скотины.

Милон. Какое скотское сравнение!

Правдин (Скотинину). Ничему не бывать, господин Скотинин! Я скажу вам напрямки: сестрица ваша прочит ее за сына своего.

Скотинин (озлобясь). Как! Племяннику перебивать у дяди! Да я его на первой встрече как чорта изломаю. Ну, будь я свиной сын, если я не буду ее мужем, или Митрофан уродом.

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же, Еремеевна и Митрофан

Еремеевна. Да поучись хоть немножечко.

Митрофан. Ну, еще слово молви, стара хрычовка! уж я те отделаю! Я опять нажалуюсь матушке, так она тебе изволит дать таску по-вчерашнему.

Скотинин. Подойди сюда, дружок.

Еремеевна. Изволь подойти к дядюшке.

Митрофан. Здорово, дядюшка! Что ты так ошестиниться изволил?

Скотинин. Митрофан! Гляди на меня прямее.

Еремеевна. Погляди, батюшка.

Митрофан (Еремеевне). Да дядюшка что за невидальщина? Что ты на нем увидишь?

Скотинин. Еще раз: гляди на меня прямее.

Еремеевна. Да не гневи дядюшку. Вон, изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то вытарачил, и ты свои изволь так же вытарачить.

Скотинин и Митрофан, выпуча глаза, друг на друга смотрят.

Милон. Вот изрядное объяснение!

Правдин. Чем-то оно кончится?

Скотинин. Митрофан! Ты теперь от смерти на волоску. Скажи всю правду; если б я греха не побоялся, я бы те, не говоря еще ни слова, за ноги, да об угол. Да не хочу губить души, не найдя виноватого.

Еремеевна (задрожала). Ах, уходит он его! Куда моей голове деваться?

Митрофан. Что ты, дядюшка? белены объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться изволил.

Скотинин. Смотри ж, не отпирайся, чтоб я всердцах с одного разу не вышиб из тебя духу. Тут уж руки не подставишь. Мой грех. Виноват богу и государю. Смотри, не клепли же и на себя, чтоб напрасных побой не принять.

Еремеевна. Избави бог напраслины!

Скотинин. Хочешь ли ты жениться?

Митрофан (разнежась). Уж давно, дядюшка, берет охота...

Скотинин (бросаясь на Митрофана). Ах ты чушка проклятая!..

Правдин (не допуская Скотинина). Господин Скотинин! Рукам воли не давай.

Митрофан. Мамушка! заслони меня.

Еремеевна (заслоняя Митрофана, остервенясь и подняв кулаки). Издохну на месте, а дитя не выдам. Сунься, сударь, только изволь сунуться. Я те бельмы-то выцарапаю.

Скотинин (задрожав и грозя, отходит). Я вас доеду.

Еремеевна (задрожав, вслед). У меня и свои зацепы остры!

Митрофан (вслед Скотинину). Убирайся, дядюшка; проваливай.

ЯВЛЕНИЕ V

Те же и оба Простаковы

Г-жа Простакова (мужу, идучи). Тут перевирать нечего. Весь век, сударь, ходишь, развеся уши.

Простаков. Да он сам с Правдиным из глаз у меня стиб да пропал. Я чем виноват?

Г-жа Простакова (к Милону). А! мой батюшка! Господин офицер! Я вас теперь искала по всей деревне; мужа с ног сбила, чтоб принести вам, батюшка, нижайшее благодарение за добрую команду.

Милон. За что, сударыня?

Г-жа Простакова. Как за что, мой батюшка! Солдаты такие добрые. До сих пор волоска никто не тронул. Не прогневайся, мой батюшка, что урод мой вас прозевал. Отроду никого угостить не смыслит. Уж так рохлею родился, мой батюшка.

Милон. Я нимало не пеняю, сударыня.

Г-жа Простакова. На него, мой батюшка, находит такой, по-здешнему сказать, столбняк. Иногда выпуча глаза стоит битый час, как вкопанный. Уж чего-то я с ним не делала; чего только он у меня не вытерпел! Ничем не проймешь. Ежели столбняк и попройдет, то занесет, мой батюшка, такую дичь, что у бога просишь опять столбняка.

Правдин. По крайней мере, сударыня, вы не можете жаловаться на злой его нрав. Он смирен. . .

Г-жа Простакова. Как теленок, мой батюшка, оттого-то у нас в доме все и избаловано. Ведь у него нет того смыслу, чтоб в доме была строгость, чтоб наказать путем виноватого. Все сама управляюсь, батюшка. С утра до вечера, как за язык повешена, рук не покладываю: то бранюсь, то дерусь; тем и дом держится, мой батюшка!

Правдин (в сторону). Скоро будет он держаться иным образом.

Митрофан. И сегодня матушка все утро изволила провозиться с холопами.

Г-жа Простакова (к Софье). Убирала покои для твоего любезного дядюшки. Умираю, хочу видеть этого почтенного старичка. Я об нем много наслышалась. И злодеи его говорят только, что он немножечко угрюм, а

такой-де преразумный, да коли-де уж кого и полюбит, так прямо полюбит. Правдин. А кого он не возлюбит, тот дурной человек. (К Софье.) Я и сам имею честь знать вашего дядюшку. А сверх того от многих слышал об нем то, что вселило в душу мою истинное к нему почтение. Что называют в нем угрюмостью, грубостью, то есть одно действие его прямодушия. От роду язык его не говорил "да", когда душа его чувствовала "нет". Софья. Зато и счастье свое должен он был доставать трудами. Г-жа Простакова. Милость божия к нам, что удалось. Ничего так не желаю, как отеческой его милости к Митрофанушке. Софьюшка, душа моя! не изволишь ли посмотреть дядюшкиной комнаты?

Софья отходит.

Г-жа Простакова. Опять зазевался, мой батюшка; да изволь, сударь, проводить ее. Ноги-то не отнялись.

Простаков (отходя). Не отнялись, да подкосились.

Г-жа Простакова (к гостям). Одна моя забота, одна моя отрада - Митрофанушка. Мой век проходит. Его готовлю в люди.

Здесь появляются Кутейкин с часословом, а Цыфиркин с аспидной доскою и грифелем.

Оба они знаками, спрашивают Еремеевну: входить ли? Она их манит, а Митрофан отмахивает.

Г-жа Простакова (не видя их, продолжает). Авось-либо господь милостив, и счастье на роду ему написано.

Правдин. Оглянитесь, сударыня, что за вами делается!

Г-жа Простакова. А! Это, батюшка, Митрофанушкины учителя, Сидорыч Кутейкин...

Еремеевна. И Пафнутыч Цыфиркин.

Митрофан (в сторону). Пострел их побери и с Еремеевной.

Кутейкин. Дому владыке мир и многая лета с чады и домочадцы.

Цыфиркин. Желаем вашему благородию здравствовать сто лет, да двадцать, да еще пятнадцать, несчетны годы.

Милон. Ба! Это наш брат служивый! Откуда взялся, друг мой?

Цыфиркин. Был гарнизонный, ваше благородие! А ныне пошел в чистую.*

Милон. Чем же ты питаешься?

Цыфиркин. Да кое-как, ваше благородие! Мало толику арифметике маракую, так питаюсь в городе около приказных служителей** у счетных дел. Не всякому открыл господь науку: так кто сам не смыслит, меня нанимает то счетец поверить, то итоги подвести. Тем и питаюсь; праздно жить не люблю. На досуге ребят обучаю. Вот и у их благородия с парнем третий год над ломаньими*** бьемся, да что-то плохо клеятся; ну и то правда, человек на человека не приходит.

* В отставку от службы.

** Чиновников.

*** Над дробями.

Г-жа Простакова. Что? Что ты это, Пафнутыч, врешь? Я не вслушалась.

Цыфиркин. Так. Я его благородию докладывал, что в иного пня в десять лет не вдолбишь того, что другой ловит на полете.

Правдин (к Кутейкину). А ты, господин Кутейкин, не из ученых ли?

Кутейкин. Из ученых, ваше высокородие! Семинарии здешния епархии.* Ходил до риторики,** да богу изволившу, назад воротился. Подавал в консисторию*** челобитье****, в котором прописал: "Такой-то-де семинарист, из церковничьих детей, убояся бездны премудрости, просит от нее об увольнении". На что и милостивая резолюция вскоре воспоследовала, с отметкою: "Такого-то-де семинариста от всякого учения уволить писано бо есть, не мечите бисера пред свиньями, да не попрут его ногами".

* Епархия - церковно-административный округ.

** Классы в семинариях назывались по имени основных предметов,

изучавшихся на данной ступени курса: риторика, философия, богословие.
*** Консистерия – церковная канцелярия, аппарат управления епархией.
**** Прощение, заявление

Г-жа Простакова. Да где наш Адам Адамыч?
Еремеевна. Я и к нему было толкнулась, да насилу унесла ноги. Дым столбом, моя матушка! Задушил, проклятый, табачищем. Такой греховодник.
Кутейкин. Пустое, Еремеевна! Несть греха в курении табака.
Правдин (в сторону). Кутейкин еще и умничает!
Кутейкин. Во многих книгах разрешается: во псалтире именно напечатано: "И злак на службу человеком".
Правдин. Ну, а еще где?
Кутейкин. И в другой псалтире напечатано то же. У нашего протопопа маленька в осьмушку, и в той то же.
Правдин (к г-же Простаковой). Я не хочу мешать упражнениям сына вашего; слуга покорный.
Милон. Ни я, сударыня.
Г-жа Простакова. Куда же вы, государи мои?..
Правдин. Я поведу его в мою комнату. Друзья, давно не видавшись, о многом говорить имеют.
Г-жа Простакова. А кушать где изволите, с нами или в своей комнате? У нас за столом только что своя семья, с Софьюшкой...
Милон. С вами, с вами, сударыня.
Правдин. Мы оба эту честь иметь будем.

ЯВЛЕНИЕ VI

Г-жа Простакова, Еремеевна, Митрофан, Кутейкин и Цыфиркин

Г-жа Простакова. Ну, так теперь хотя по-русски прочти зады, Митрофанушка.
Митрофан. Да, зады, как не так.
Г-жа Простакова. Век живи, век учись, друг мой сердешный! Такое дело.
Митрофан. Как не такое! Пойдет на ум ученье. Ты б еще навезла сюда дядюшек!
Г-жа Простакова. Что? Что такое?
Митрофан. Да! того и смотри, что от дядюшки таска; а там с его кулаков да за часослов. Нет, так я спасибо, уж один конец с собою!
Г-жа Простакова (испугавшись). Что, что ты хочешь делать? Опомнись, душенька!
Митрофан. Ведь здесь и река близко. Нырну, так поминай, как звали.
Г-жа Простакова (вне себя). Уморил! Уморил! Бог с тобой!
Еремеевна. Все дядюшка напугал. Чуть было в волосы ему не вцепился. А ни за что, ни про что...
Г-жа Простакова (в злобе). Ну...
Еремеевна. Пристал к нему, хочешь ли жениться?..
Г-жа Простакова. Ну...
Еремеевна. Дитя не потаил: уж давно-де, дядюшка, охота берет. Как он остервенится, моя матушка! как вскинется...
Г-жа Простакова (дрожа). Ну... а ты, бестия, остолбенела, а ты не впилась братцу в харю, а ты не раздернула ему рыла по уши...
Еремеевна. Приняла-было! Ох, приняла, да...
Г-жа Простакова. Да... да что... не твое дитя, бестия! По тебе робенка хоть убей до смерти.
Еремеевна. Ах, создатель, спаси и помилуй! Да кабы братец в ту ж минуту отойти не изволил, то я б с ним поломалась. Во что б бог ни поставил. Притупились бы эти (указывая на ногти), я б и клыков беречь

не стала.

Г-жа Простакова. Все вы, бестии, усердны на одних словах, а не на деле...

Еремеевна (заплакав). Я не усердна вам, матушка! Уж как больше служить, не знаешь... рада бы не токмо что... живота* не жалеешь... а все не угодно.

Кутейкин. Нам во-свояси повелите?

Цыфиркин. Нам куда поход, ваше благородие?

Г-жа Простакова. Ты ж еще, старая ведьма, и разревелась. Поди, накорми их с собою, а после обеда тотчас опять сюда. (К Митрофану.) Пойдем со мною, Митрофанушка. Я тебя из глаз теперь не выпущу. Как скажу я тебе нещичко**, так пожить на свете слюбится. Не век тебе, моему другу, не век тебе учиться. Ты, благодаря бога, столько уже смыслишь, что и сам взведешь деточек. (К Еремеевне.) С братцем переведаюсь не по-твоему. Пусть же все добрые люди увидят, что мама и что мать родная. (Отходит с Митрофаном.)

* Жизни (славянок.).

** Нечто, тайну.

Кутейкин. Житье твое, Еремеевна, яко тьма кромешная. Пойдем-ка за трапезу, да с горя выпей сперва чарку.

Цыфиркин. А там другую, вот-те и умноженье.

Еремеевна, (в слезах). Нелегкая меня не приберет! Сорок лет служу, а милость все та же...

Кутейкин. А велика ль благостыня?

Еремеевна. По пяти рублей на год, да по пяти пощечин на день.

Кутейкин и Цыфиркин отводят ее под руки.

Цыфиркин. Смекнем же за столом, что тебе доходу в круглый год.

Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Стародум и Правдин

Правдин. Лишь только из-за стола встали, и я, подошед к окну, увидел вашу карету, то, не сказав никому, выбежал к вам навстречу обнять вас от всего сердца. Мое к вам душевное почтение...

Стародум. Оно мне драгоценно. Поверь мне.

Правдин. Ваша ко мне дружба тем лестнее, что вы не можете иметь ее к другим, кроме таких...

Стародум. Каков ты. Я говорю без чинов. Начинаются чины, - перестает искренность.

Правдин. Ваше обхождение. ..

Стародум. Ему многие смеются. Я это знаю. Быть так. Отец мой воспитал меня по-тогдашнему, а я не нашел и нужды себя перевоспитывать. Служил он Петру Великому. Тогда один человек назывался ты, а не вы. Тогда не знали еще заражать людей столько, чтоб всякий считал себя за многих. Зато нонче многие не стоят одного. Отец мой у двора Петра Великого...

Правдин. А я слышал, что он в военной службе...

Стародум. В тогдашнем веке придворные были воины, да воины не были придворные. Воспитание дано мне было отцом моим по тому веку наилучшее. В то время к научению мало было способов, да и не умели еще чужим умом набивать пустую голову.

Правдин. Тогдашнее воспитание действительно состояло в нескольких правилах...

Стародум. В одном. Отец мой непрестанно мне твердил одно и то же: имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. На все прочее мода: на умы мода, на знания мода, как на пряжки, на пуговицы.

Правдин. Вы говорите истину. Прямое достоинство в человеке есть душа...

Стародум. Без нее просвещеннейшая умница - жалкая тварь. (С чувством.) Невежда без души - зверь. Самый мелкий подвиг вводит его во всякое преступление. Между тем, что он делает, и тем, для чего он делает, никаких весков у него нет. От таких-то животных пришел я свободить...

Правдин. Вашу племянницу. Я это знаю. Она здесь. Пойдем...

Стародум. Постой. Сердце мое кипит еще негодованием на недостойный поступок здешних хозяев. Побудем здесь несколько минут. У меня правило: в первом движении ничего не начинать.

Правдин. Редкое правило ваше наблюдать умеют.

Стародум. Опыты жизни моей меня к тому приучили. О, если б я ранее умел владеть собою, я имел бы удовольствие служить долее отечеству.

Правдин. Каким же образом? Происшествия с человеком ваших качеств никому равнодушно быть не могут. Вы меня крайне одолжите, если расскажете...

Стародум. Я ни от кого их не таю для того, чтоб другие в подобном положении нашлись меня умнее. Вошед в военную службу, познакомился я с молодым графом, которого имени я и вспомнить не хочу. Он был по службе меня моложе, сын случайного отца*, воспитан в большом свете и имел особый случай научиться тому, что в наше воспитание еще и не входило. Я все силы употребил снискать его дружбу, чтоб всегдашним с ним обхождением наградить недостатки моего воспитания. В самое то время, когда взаимная наша дружба утверждалась, услышали мы нечаянно, что объявлена война. Я бросился обнимать его с радостью. "Любезный граф! вот случай нам отличить себя. Пойдем тотчас в армию и сделаемся достойными звания дворянина, которое нам дала порода". Друг мой граф сильно наморщился и, обняв меня, сухо: "Счастливым тебе путь, - сказал мне: - а я ласкаюсь, что батюшка не захочет со мною расстаться". Ни с чем нельзя сравнить презрения, которое ощутил я к нему в ту же минуту. Тут увидел я, что между людьми случайными и людьми почтенными бывает иногда неизмеримая разница, что в большом свете водятся премелкие души и что с великим просвещением можно быть великому скареду**.

* "Случайными людьми" в XVIII веке называли людей, пользовавшихся особыми милостями царей и цариц.

** Скаред - скряга, скупец. Здесь - бранное слово.

Правдин. Сушая истина.

Стародум. Оставя его, поехал я немедленно, куда звала меня должность. Многие случаи имел я отличить себя. Раны мои доказывают, что я их и не пропускал. Доброе мнение обо мне начальников и войска было лестною наградою службы моей, как вдруг получил я известие, что граф, прежний мой знакомец, о котором я гнушался вспоминать, произведен чином, а обойден я, я, лежавший тогда от ран в тяжелой болезни. Такое правосудие растерзало мое сердце, и я тотчас взял отставку.

Правдин. Что ж бы иное и делать надлежало?

Стародум. Надлежало образумиться. Не умел я остеречься от первых движений раздраженного моего любочестия. Горячность не допустила меня тогда рассудить, что прямо* любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам; что чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходимо заслуживается; что гораздо честнее быть без вины обойдену, нежели без заслуг пожаловану.

Правдин. Но разве дворянину не позволено взять отставки ни в каком уже случае?

Стародум. В одном только: когда он внутренне удостоверен, что служба его отечеству прямой пользы не приносит. А! тогда поди.

Правдин. Вы даете чувствовать истинное существо должности** дворянина.

Стародум. Взяв отставку, приехал я в Петербург. Тут слепой случай завел меня в такую сторону, о которой мне отроду и в голову не приходило.

Правдин. Куда же?

Стародум. Ко двору***. Меня взяли ко двору. А? Как ты об этом думаешь?

Правдин. Как же вам эта сторона показалась?

Стародум. Любопытна. Первое показалось мне странно, что в этой стороне по большой прямой дороге никто почти не ездит, а все объезжают крюком, надеясь доехать поскорее.

Правдин. Хоть крюком, да просторна ли дорога?

Стародум. А такова-то просторна, что двое, встретясь, разойтись не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимает уже никогда того, кто на земли.

Правдин. Так поэтому тут самолюбие... Стародум. Тут не самолюбие, а, так назвать, себялюбие. Тут себя любят отменно; о себе одном пекутся; об одном настоящем часе суетятся. Ты не поверишь: я видел тут множество людей, которым во все случаи их жизни ни разу на мысль не приходило ни предки, ни потомки.

* Истинно, действительно.

** Обязанностей, долга.

*** Двор - ближайшее окружение государя, придворные.

Правдин. Но те достойные люди, которые у двора служат государству...

Стародум. О! те не оставляют двора для того, что они двору полезны, а прочие для того, что двор им полезен. Я не был в числе первых и не хотел быть в числе последних.

Правдин. Вас, конечно, у двора не узнали? *

Стародум. Тем для меня лучше. Я успел убраться без хлопот; а то бы выжили ж меня одним из двух манеров.

Правдин. Каких?

Стародум. От двора, мой друг, выживают двумя манерами. Либо на тебя рассердятся, либо тебя рассердят. Я не стал дожидаться ни того, ни другого. Рассудил, что лучше вести жизнь у себя дома, нежели в чужой передней.

Правдин. Итак, вы отошли от двора ни с чем? (Открывает свою табакерку.)

Стародум (берет у Правдина табак). Как ни с чем? Табакерке цена пятьсот рублей. Пришли к купцу двое. Один, заплатя деньги, принес домой табакерку. Другой пришел домой без табакерки. И ты думаешь, что другой пришел домой ни с чем? Ошибаешься. Он принес назад свои пятьсот рублей целы. Я отошел от двора без деревень, без ленты**, без чинов, да мое принес домой неповрежденно, мою душу, мою честь, мои правила.

Правдин. С вашими правилами людей не отпускать от двора, а ко двору призывать надобно.

Стародум. Призывать? А зачем?

Правдин. За тем, за чем к больным врача призывают.

Стародум. Мой друг! Ошибаешься. Тщетно звать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве сам заразится.

* Не поняли.

** "Без ленты", то есть не получив первой степени одного из орденов, знаком которой, кроме звезды, была носимая через плечо широкая лента установленных для ордена цветов.

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Софья

Софья (к Правдину). Сил моих не стало от их шуму.

Стародум (в сторону). Вот черты лица ее матери. Вот моя Софья.

Софья (смотря на Стародума). Боже мой! Он меня назвал. Сердце мое меня не обманывает...

Стародум (обняв ее). Нет. Ты дочь моей сестры, дочь сердца моего!

Софья (бросаясь в его объятия). Дядюшка! Я вне себя с радости.

Стародум. Любезная Софья! Я узнал в Москве, что ты живешь здесь против воли. Мне на свете шестьдесят лет. Случалось быть часто раздраженным, иногда быть собой довольным. Ничто так не терзало мое сердце, как невинность в сетях коварства. Никогда не бывал я так собой доволен, как если случалось вырвать добычу из рук порока.

Правдин. Сколь приятно быть тому и свидетелем!

Софья. Дядюшка! ваши ко мне милости...

Стародум. Ты знаешь, что я одной тобой привязан к жизни. Ты должна делать утешение моей старости, а мои попечения – твоё счастье. Пошел в отставку, положил я основание твоему воспитанию, но не мог иначе основать твоего состояния, как разлучась с твоей матерью и с тобою. Софья. Отсутствие ваше огорчало нас несказанно.

Стародум (к Правдину). Чтоб оградить ее жизнь от недостатка в нужном, решился я удалиться на несколько лет в ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть, без подлой выслуги, не грабя отечества; где требуют денег от самой земли, которая поправосуднее людей, лицепрятия не знает, а платит одни труды верно и щедро.

Правдин. Вы могли б обогатиться, как я слышал, несравненно больше.

Стародум. А на что?

Правдин. Чтоб быть богаты, как другие.

Стародум. Богату! А кто богат? Да ведаешь ли ты, что для прихотей одного человека всей Сибири мало! Друг мой! Все состоит в воображении. Последуй природе, никогда не будешь беден. Последуй людским мнениям, никогда богат не будешь.

Софья. Дядюшка! Какую правду вы говорите!

Стародум. Я нажил столько, чтоб при твоём замужестве не останавливала нас бедность жениха достойного.

Софья. Во всю жизнь мою ваша воля будет мой закон.

Правдин. Но, выдав ее, не лишнее было бы оставить и детям...

Стародум. Детям? Оставлять богатство детям! В голове нет. Умны будут, без него обойдутся; а глупому сыну не в помощь богатство. Видал я молодцов в золотых кафтанах, да с свинцовой головою. Нет, мой друг! Наличные деньги – не наличные достоинства. Золотой болван* – все болван.

* Статуя.

Правдин. Со всем тем мы видим, что деньги нередко ведут к чинам, чины обыкновенно к знатности, а знатным оказывается почтение.

Стародум. Почтение! Одно почтение должно быть лестно человеку – душевное; а душевного почтения достоин только тот, кто в чинах не по деньгам, а в знати не по чинам.

Правдин. Заключение ваше неоспоримо.

Стародум. Ва! Это что за шум!

ЯВЛЕНИЕ III

Те же, г-жа Простакова. Скотинин, Милон (Милон разнимает г-жу Простакову с Скотининым.)

Г-жа Простакова. Пусти! Пусти, батюшка! Дай мне до рожи, до рожи...

Милон. Не пущу, сударыня. Не прогневайся!

Скотинин (в запальчивости, оправляя парик). Отвяжись, сестра! Дойдет дело до ломки, погну, так затрешишь.

Милон (г-же Простаковой). И вы забыли, что он вам брат!

Г-жа Простакова. Ах, батюшка! Сердце взяло, дай додраться!

Милон (Скотинину). Разве она вам не сестра?

Скотинин. Что греха таить, одного помету; да вишь как развизжалась.

Стародум (не могши удержаться от смеха, к Правдину). Я боялся рассердиться. Теперь смех меня берет.

Г-жа Простакова. Кого-то, над кем-то? Это что за нововыезжий?*

* Новоприезжий.

Стародум. Не прогневайся, сударыня. Я отроду ничего смешнее не видывал.

Скотинин (держась за шею). Кому смех, а мне и полсмеха нет.

Милон. Да не ушибла ль она вас?

Скотинин. Перед-от заслонял обеими, так вцепилась в зашеину...

Правдин. И больно?..

Скотинин. Загривок немного пронозила.

В следующую речь г-жи Простаковой Софья сказывает взорами Милону, что перед ним Стародум. Милон ее понимает.

Г-жа Простакова. Пронозила!.. Нет, братец.. ты должен образ выменять господина офицера; а кабы не он, то б ты от меня не заслонился. За сына вступлюсь. Не спущу отцу родному. (Стародуму.) Это, сударь, ничего и не смешно. Не прогневайся. У меня материно сердце. Слыхано ли, чтоб сука щенят своих выдавала? Изволил пожаловать неведомо к кому, неведомо кто.

Стародум (указывая на Софью). Приехал к ней, ее дядя Стародум.

Г-жа Простакова (обробев и струся). Как! это ты! ты, батюшка! Гость наш бесценный! Ах, я дура бессчетная! Да так ли бы надобно было встретить отца родного, на которого вся надежда, который у нас один, как порох* в глазе. Батюшка! Прости меня. Я дура. Образумиться не могу. Где муж! где сын! Как в пустой дом приехал! Наказание божие! Все обезумели. Девка! Девка! Палашка! Девка!

Скотинин (в сторону). Тот-то! он-то! дядюшка-то!

* порох - пыль.

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Еремеевна

Еремеевна. Чего изволишь?

Г-жа Простакова. А ты разве девка, собачья ты дочь? Разве у меня в доме, кроме твоей скверной хари, и служанок нет! Палашка где?

Еремеевна. Захворала, матушка, лежит с утра.

Г-жа Простакова. Лежит! Ах, она bestия! Лежит! Как будто она благородная!

Еремеевна. Такой жар рознял, матушка, без умолку бредит...

Г-жа Простакова. Бредит, бестия! Как будто благородная! Зови же ты мужа, сына. Скажи им, что по милости божией дождались мы дядюшку любезной нашей Софьюшки; ну, беги, переваливайся.
Стародум. К чему так суетиться, сударыня? По милости божией я ваш не родитель, по милости же божией я вам и незнаком.
Г-жа Простакова. Нечаянный твой приезд, батюшка, ум у меня отнял; да дай хотя обнять себя хорошенько, благодетель наш!..

ЯВЛЕНИЕ V

Те же, Простакова, Митрофан и Еремеевна

В следующую речь Стародума, Простаков с сыном, вышедшие из средней двери, стали позади Стародума. Отец готов его обнять, как скоро дойдет очередь, а сын подойти к руке. Еремеевна взяла место в стороне и, сложа руки, стала, как вкопанная, выпяля глаза на Стародума с рабским подобострастием.

Стародум (обнимая неохотно г-жу Простакову). Милость совсем лишняя, сударыня! Без нее мог бы я весьма легко обойтись. (Вырвавшись из рук ее, обертывается на другую сторону, где Скотинин, стоящий уже с распростертыми руками, тотчас его схватывает.)

Стародум. Это к кому я попался?

Скотинин. Это я, сестрин брат.

Стародум (у видя еще двух, с нетерпением). А это кто еще?

Простаков (обнимая). Я женин муж.

Митрофан (ловя руку). А я матушкин сынок.

Милон (Правдину). Теперь я не представляюсь.

Правдин (Милону). Я найду случай представить тебя после.

Стародум (не давая руки Митрофану). Этот ловит целовать руку. Видно, что готовят в него большую душу.

Г-жа Простакова. Говори, Митрофанушка. Как-де, сударь, мне не целовать твоей ручки? Ты мой второй отец.

Митрофан. Как не целовать, дядюшка, твоей ручки. Ты мой отец... (К матери.) Который бишь?

Г-жа Простакова. Второй.

Митрофан. Второй? Второй отец, дядюшка.

Стародум. Я, сударь, тебе ни отец, ни дядюшка.

Г-жа Простакова. Батюшка, ведь ребенок, может быть, свое счастье прорекает: авось-либо сподобит бог быть ему и впрямь твоим племянничком.

Скотинин. Право! А я чем не племянник? Ай, сестра!

Г-жа Простакова. Я, братец, с тобою лаяться не стану. (К Стародуму.)

Отроду, батюшка, ни с кем не бранивалась. У меня такой нрав. Хоть разругай, век слова не скажу. Пусть же, себе на уме, бог тому заплатит, кто меня, бедную, обижает.

Стародум. Я это приметил, как скоро ты, сударыня, из дверей показалась.

Правдин. А я уже три дни свидетелем ее добронравия.

Стародум. Этой забавы я так долго иметь не могу. Софьюшка, друг мой, завтра же поутру еду с тобой в Москву.

Г-жа Простакова. Ах, батюшка! За что такой гнев?

Простаков. За что немилость?

Г-жа Простакова. Как! Нам расстаться с Софьюшкой! С сердечным нашим другом! Я с одной тоски хлеба отстану.

Простаков. А я уже тут сгиб да пропал.

Стародум. О! Когда же вы так ее любите, то должен я вас обрадовать. Я везу ее в Москву для того, чтоб сделать ее счастье. Мне представлен в

женихи ее некто молодой человек больших достоинств. За него ее и выдам.

Все вместе.

Г-жа Простакова. Ах, уморил!

Милон. Что я слышу!

Софья кажется пораженной.

Скотинин. Вот-те раз!

Простаков всплеснул руками.

Митрофан. Вот тебе на!

Еремеевна печально кивнула головою. Правдин показывает вид огорченного удивления.

Стародум (приметя всех смятение). Что это значит? (К Софье.) Софьюшка, друг мой, и ты мне кажешься в смущении? Неужель мое намерение тебя огорчило? Я заступаю место отца твоего. Поверь мне, что я знаю его права. Они нейдут далее, как отвращать несчастную склонность дочери, а выбор достойного человека зависит совершенно от ее сердца. Будь спокойна, друг мой! Твой муж, тебя достойный, кто б он ни был, будет иметь во мне истинного друга. Поди за кого хочешь.

Все принимают веселый вид.

Софья. Дядюшка! Не сомневайтесь в моем повиновении.

Милон (в сторону). Почтенный человек!

Г-жа Простакова (с веселым видом). Вот отец! Вот послушать! Поди за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил. Так, мой батюшка, так. Тут лишь только женихов пропускать не надобно. Коль есть в глазах дворянин, малый молодой...

Скотинин. Из ребят давно уж вышел...

Г-жа Простакова. У кого достаточен, хоть и небольшой...

Скотинин. Да свиной завод не плох...

Г-жа Простакова. Так и в добрый час, и архангельский.

Скотинин. Так веселым пирком, да за свадебку.

Стародум. Советы ваши беспристрастны. Я это вижу.

Скотинин. То ль еще увидишь, как опознаешь меня покороче. Вишь ты, здесь содомно. Через час-место приду к тебе один. Тут дело и сладим.

Скажу, не похвалясь, каков я, право, таких мало. (Отходит.)

Стародум. Это всего вероятнее.

Г-жа Простакова. Ты, батюшка, не диви, что братец мой родной...

Стародум. Родной...

Г-жа Простакова. Так, батюшка. Ведь и я по отце Скотининых. Покойник батюшка женился на покойнице матушке. Она была по прозванию Приплодиных. Нас, детей, было у них восемнадцать человек; да, кроме меня с братцем, все, по власти господней, примерли. Иных из бани мертвых вытащили. Трое, похлебав молочка из медного котлика, скончались. Двое о святой неделе с колокольни свалились; а достальные сами не стояли, батюшка!

Стародум. Вижу, каковы были и родители ваши.

Г-жа Простакова. Старинные люди, мой отец! Не нынешний был век. Нас ничему не учили. Бывало, добры люди приступят к батюшке, ублажают, ублажают, чтоб хоть братца отдать в школу. Кстати ли? Покойник-свет и руками, и ногами, царство ему небесное! Бывало, изволит закричать: проклян у ребенка, который что-нибудь переймет у басурманов, и не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет.

Правдин. Вы, однакож, своего сынка кое-чему обучаете.

Г-жа Простакова. Да ныне век другой, батюшка! (К Стародуму.) Последних крох не жалею, лишь бы сына всему выучить! Мой Митрофанушка из-за

книги не встает по суткам. Материно мое сердце. Иное жаль, жаль, да подумаешь: зато будет и детина хоть куда. Ведь вот уж ему, батюшка, шестнадцать лет исполнится около зимнего Николы. Жених хоть кому, а все-таки учителя ходят, часа не теряют, и теперь двое в сенях дожидаются. (Мигнула Еремеевне, чтоб их позвать.) В Москве же приняли иноземца на пять лет и, чтоб другие не сманили, контракт в полиции заявили. Подрядился учить, чему мы хотим, а по нас учи, чему сам умеет. Мы весь родительский долг исполнили, немца приняли и деньги наперед по третям ему платим. Желала б я душевно, чтоб ты сам, батюшка, полюбовался на Митрофанушку и посмотрел бы, что он выучил.

Стародум. Я худой тому судья, сударыня.

Г-жа Простакова (увидя Кутейкина и Цыфиркина). Вот и учителя!

Митрофанушка мой ни днем, ни ночью покою не имеет. Свое дитя хвалить дурно, а куда не несчастна будет та, которую приведет бог быть его женою.

Правдин. Это все хорошо: не забудьте, однакож, сударыня, что гость ваш теперь только из Москвы приехал и что ему покой гораздо нужнее похвал вашего сына.

Стародум. Признаюсь, что я рад бы отдохнуть и от дороги, и от всего того, что слышал и что видел.

Г-жа Простакова. Ах, мой батюшка! Все готово. Сама для тебя комнату убирала.

Стародум. Благодарен. (К Софье.) Софьюшка, проводи меня.

Г-жа Простакова. А мы-то что? Позволь, мой батюшка, проводить себя и мне, и сыну, и мужу. Мы все за твое здоровье в Киев пешком обещаемся, лишь бы дельцо наше сладить.

Стародум (к Правдину). Когда же мы увидимся? Отдохнув, я сюда приду.

Правдин. Так я здесь и буду иметь честь вас видеть.

Стародум. Рад душою. (Увидя Милона, который ему с почтением поклонился, откланивается и ему учтиво.)

Г-жа Простакова. Так милости просим.

Кроме учителей, все отходят, Правдин с Милоном в сторону, а прочие в другую.

ЯВЛЕНИЕ VI

Кутейкин и Цыфиркин

Кутейкин. Что за бесовщина! С самого утра толку не добьешься. Здесь каждое утро процветет и погибнет.

Цыфиркин. А наш брат и век так живет. Дела не делай, от дела не бегай. Вот беда нашему брату, как кормят плохо, как сегодня к здешнему обеду провианту не стало...

Кутейкин. Да кабы не умудрил и меня владыко, шедши сюда, забрести на перепутье к нашей просвиrne, взалках* бы яко пес ко вечеру.

Цыфиркин. Здешни господа добры командеры!..

Кутейкин. Слыхал ли ты, братец, каково житье-то здешним челядинцам**, даром что ты служивый, бывал на баталиях***, страх и трепет придет на тя...

* Захотел есть (взалкать -- славянск.).

** Челяди, слугам.

*** В сражениях.

Цыфиркин. Вот на! Слыхал ли? Я сам видал здесь беглый огонь в сутки сряду часа по три. (Вздыхнув.) Ох-ти мне! Грусть берет.

Кутейкин (вздыхнув). О, горе мне грешному!
Цыфиркин. О чем вздохнул, Сидорыч?
Кутейкин. И в тебе смятется сердце твое, Пафнутьевич?
Цыфиркин. За неволю призадумываешься... Дал мне бог ученичка, боярского сынка. Бьюсь с ним третий год: трех перечесть не умеет.
Кутейкин. Так у нас одна кручина. Четвертый год мучу свой живот. Посесть час, кроме задов, новой строки не разберет; да и зады мямлит, прости господи, без складу по складам, без толку по толкам.
Цыфиркин. А кто виноват? Лишь он грифель в руки, а немец в двери. Ему шабаш из-за доски, а меня рады в толчки.
Кутейкин. Тут мой ли грех? Лишь указку в персты, басурман в глаза. Ученичка по головке, а меня по шее.
Цыфиркин (с жаром). Я дал бы себе ухо отнести, лишь бы этого тунеядца прошколить по-солдатски.
Кутейкин. Меня хоть теперь шелепами*, лишь бы выю грешнику** путем накостилять.

* Плетями.

** Шею грешника.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же, г-жа Простакова и Митрофан

Г-жа Простакова. Пока он отдыхает, друг мой, ты хоть для виду поучись, чтоб дошло до ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка.

Митрофан. Ну! А там что?

Г-жа Простакова. А там и женишься.

Митрофан. Слушай, матушка, я те потешу. Поучусь; только чтоб это был последний раз и чтоб сегодня ж быть стовору.

Г-жа Простакова. Придет час воли божией!

Митрофан. Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться. Ты ж меня взманила, пеняй на себя. Вот я сел.

Цыфиркин очинивает грифель.

Г-жа Простакова. А я тут же присяду. Кошелек повяжу для тебя, друг мой! Софьюшкины денежки было б куды класть.

Митрофан. Ну! Давай доску, гарнизонная крыса! Задавай, что писать.

Цыфиркин. Ваше благородие всегда без дела лаяться изволите.

Г-жа Простакова (работая). Ах, господи боже мой! Уж ребенок не смей и избранить Пафнутьича! Уж и разгневался!

Цыфиркин. За что разгневаться, ваше благородие? У нас российская пословица: собака лает, ветер носит.

Митрофан. Задавай же зады, поворачивайся.

Цыфиркин. Все зады, ваше благородие. Ведь с задами-то век назади останешься.

Г-жа Простакова. Не твое дело, Пафнутьич. Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит. С его умом, да залететь далеко, да и боже избави!

Цыфиркин. Задача. Изволил ты, на приклад *, итти по дороге со мною. Ну, хоть возьмем с собою Сидорыча. Нашли мы трое...

* Например

Митрофан (пишет). Трое.

Цыфиркин. На дороге, на приклад же, триста рублей.

Митрофан (пишет). Триста.
Цыфиркин. Дошло дело до дележа. Смекни-тко, по чему на брата?
Митрофан (вычисляя, шепчет). Единожды три - три. Единожды нуль - нуль. Единожды нуль - нуль.
Г-жа Простакова. Что, что, до дележа?
Митрофан. Вишь триста рублей, что нашли, троим разделить.
Г-жа Простакова. Врет он, друг мой сердечный. Нашед деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке.
Митрофан. Слышь, Пафнутьич, задавай другую.
Цыфиркин. Пиши, ваше благородие. За ученье жалуете мне в год десять рублей.
Митрофан. Десять.
Цыфиркин. Теперь, правда, не за что, а кабы ты, барин, что-нибудь у меня перенял, не грех бы тогда было и еще прибавить десять.
Митрофан (пишет). Ну, ну, десять.
Цыфиркин. Сколько бы ж на год?
Митрофан (вычисляя, шепчет). Нуль да нуль - нуль. Один да один... (Задумался.)
Г-жа Простакова. Не трудись по-пустому, друг мой! Гроша не прибавлю; да и не за что. Наука не такая. Лишь тебе мученье, а все, вижу, пустота. Денег нет - что считать? Деньги есть - сочтем и без Пафнутьича хорошохонько.
Кутейкин. Шабаш, право, Пафнутьич. Две задачи решены. Ведь на поверку приводить не станут.
Митрофан. Небось, брат. Матушка тут сама не ошибется. Ступай-ка ты теперь, Кутейкин, проучи вчерашнее.
Кутейкин (открывает часослов. Митрофан берет указку). Начнем благословясь. За мною со вниманием. "Аз же есмь червь..."*

* Я - червь (славянск.).

Митрофан. "Аз же есмь червь..."
Кутейкин. Червь, сиречь животино, скот. Сиречь: "аз есмь скот".
Митрофан. "Аз есмь скот".
Кутейкин (учебным голосом). "А не человек".
Митрофан (так же). "А не человек".
Кутейкин. "Поношение человеков".
Митрофан. "Поношение человеков".
Кутейкин "И уни..."

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же и Вральман

Вральман. Ай! ай! ай! ай! ай! Теперь-то я фиж! Умарить хотят репенка! Матушка ты мая! Сшалься нат сфаей уттропой, катора тефять месесоф таскала, - так скасать, асмое тифа ф сфете. Тай фолю этим проклятым слатеям. И с такой калафы толго ль палфан? Ушь диспозисион*, ушь фсе есть.

* Расположение (французск.).

Г-жа Простакова. Правда, правда твоя, Адам Адамыч! Митрофанушка, друг мой, коли ученье так опасно для твоей головушки, так по мне перестань. Митрофан. А по мне и подавно.
Кутейкин (затворяя часослов). Конец и богу слава.

Вральман. Матушка моя! Што тебе натошно? Сынок, какоф есть, да тал пох старовье; или сынок премудрой, так сказать, Аристотелис, да в могилу. Г-жа Простакова. Ах, какая страсть, Адам Адамыч! Он же и так вчера небережно поужинал.

Вральман. Рассути-ш, мать мая, напил прюхо лишне: педа. А фить калоушка-то у нефо караздо слапе прюха; напиток ее лишне да и захрани поже!

Г-жа Простакова. Правда твоя, Адам Адамыч; да что ты станешь делать? Ребенок, не выучась, поезжай-ка в тот же Петербург: скажут, дурак. Умниц-то ныне завелось много. Их-то я боюсь.

Вральман. Чефо паяться, мая матушка? Расумнай шеловек никахта ефо не сатерет, никахта з ним не саспорит: а он с умными лютьми не сфясывайся, так и пудет плаготенствие пожие!

Г-жа Простакова. Вот как надобно тебе на свете жить, Митрофанушка!

Митрофан. Я и сам, матушка, до умниц-то не охотник. Свой брат завсегда лучше.

Вральман. Сфая кампания то ли тело?

Г-жа Простакова. Адам Адамыч! Да из кого ж ты ее выберешь?

Вральман. Не крушинься, мая матушка, не крушинься; каков тфой тражайший сын, таких на сфете миллионы, миллионы. Как ему не фыпрать сепе кампаний?

Г-жа Простакова. То даром, что мой сын малый острый, проворный.

Вральман. То ли пы тело, капы не самарили ефо на ушенье? Россиска крамат! Арихметика! Ах, хоспоти поже мой, как туша ф теле остаеса! Как пугто пы рассиски тфорянин ушь и не мог ф сфете аванзировать* пез россиской крамат!

* Продвигаться, играть роль (французск.).

Кутейкин (в сторону). Под язык бы тебе труд и болезнь.

Вральман. Как пугто пы до арихметики пыли люти тураки песчотные!

Цыфиркин (в сторону). Я те ребра-то пересчитаю. Попадешься ко мне.

Вральман. Ему потрепно снать, как шить ф сфете. Я снаю сфет наизусть. Я сам терга калашь.

Г-жа Простакова. Как тебе не знать большого свету, Адам Адамыч? Я чай, и в одном Петербурге ты всего нагляделся.

Вральман. Тафольно, мая матушка, тафольно. Я савсегда ахотник пыл смотреть публик. Пыфало, о праснике съетутца в Катрингоф* кареты с хоспотами. Я фсе на них смотру. Пыфало, не сойту ни на минуту с косел.

* Екатеринбург - бывший пригород Петербурга, где устраивались праздничные гулянья.

Г-жа Простакова. С каких козел?

Вральман (в сторону). Ай! ай! ай! ай! Што я зафрал! (Вслух.) Ты, матушка, снаешь, што сматреть фсегда лофче зповыши. Так я, пыфало, на снакому карету сасел, так и сматру польшой сфет с косел.

Г-жа Простакова. Конечно, виднее. Умный человек знает, куда взлезть.

Вральман. Ваш тражайший сын также на сфете как-нипуть всмаститца, лютей пасматреть и сепя покасать. Уталец!

Митрофан, стоя на месте, перевертывается.

Вральман. Уталец! Не постоит на месте, как тикой конь пез усды. Ступай! Форт!*

* Прочь! (немецк.).

Митрофан убегает.

Г-жа Простакова (усмехаясь радостно). Ребенок, право, хоть и жених. Пойти за ним, однакож, чтоб он с резвости без умыслу чем-нибудь гостя не прогневал.

Вральман. Потти, моя матушка! Салетна птиса! С ним тфои гласа натошно.

Г-жа Простакова. Прощай же, Адам Адамыч! (Отходит.)

ЯВЛЕНИЕ IX

Вральман, Кутейкин, Цыфиркин

Цыфиркин (насмехаясь). Эка образина! Кутейкин (насмехаясь). Притча во языцех! Вральман. Чему фы супы-то скалите, нефежи?
Цыфиркин (ударив по плечу). А ты что брови-то нахмурил, чухонска сова!
Вральман. Ой! ой! шелесны лапы!
Кутейкин (ударив по плечу). Филин треклятый! Что ты буркалами-то похлопываешь?
Вральман (тихо). Пропал я. (Вслух.) Што фы истефаетесь, репята, што ли, нато мною?
Цыфиркин. Сам праздно хлеб ешь и другим ничего делать не даешь; да ты ж еще и рожи не уставишь.
Кутейкин. Уста твоя всегда глаголаша гордыню, нечестивый.
Вральман (оправляясь от робости). Как фы терсаете нефешничать перед ушоной персоной? Я накраул сакричу.
Цыфиркин. А мы те и честь отдадим. Я доскою...
Кутейкин. А я часословом.
Вральман. Я хоспоже на фас пошальюсь.

Цыфиркин, замахиваясь доской, а Кутейкин часословом.

Цыфиркин. Раскрою тебе рожу напятеро.
Кутейкин. Зубы грешника сокрушу.

Вральман бежит.

Цыфиркин. Ага! Поднял трус ноги!
Кутейкин. Направи стопы своя, окаянный!
Вральман (в дверях). Што фсяли, бестия? Сята сунтесь.
Цыфиркин. Уплел! Мы бы дали тебе таску!
Вральман. Лих не паюсь теперь, не паюсь.
Кутейкин. Засел, пребеззаконный! Много ль там вас, басурманов-то? Всех высылай!
Вральман. С атним не слатили! Эх, прат, фсяли!
Цыфиркин. Один десятерых уберу!
Кутейкин. Во утрие избию вся грешныя земли!

Конец третьего действия

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Софья (одна. Глядя на часы). Дядюшка скоро должен выйти. (Садясь.) Я его здесь подожду (Вынимает книжку и прочитав несколько.) Это правда. Как не быть довольну сердцу, когда спокойна совесть! (Прочитав опять несколько.) Нельзя не любить правил добродетели. Они – способы к счастью. (Прочитав несколько, взглянула и, увидев Стародума, к нему подбегает.)

ЯВЛЕНИЕ II

Софья и Стародум

Стародум. А! ты уже здесь, друг мой сердечный!

Софья. Я вас дожидалась, дядюшка. Читала теперь книжку.

Стародум. Какую?

Софья. Французскую. Фенелона*, о воспитании девиц.

.Фенелон (1651-1715) – французский писатель, автор романа "Приключения Телемака", носившего политико-нравоучительный характер. Книга Фенелона "О воспитании девиц" в русском переводе вышла в 1763 году.

Стародум. Фенелона? Автора Телемака? Хорошо. Я не знаю твоей книжки, однако читай ее, читай. Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развращать не станет. Я боюсь для вас нынешних мудрецов. Мне случилось читать из них все то, что переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротят с корню добродетель. Сядем.

Оба сели.

Мое сердечное желание видеть тебя столько счастливо, сколько в свете быть возможно.

Софья. Ваши наставления, дядюшка, составят все мое благополучие. Дайте мне правила, которым я последовать должна. Руководствуйте сердцем моим. Оно готово вам повиноваться.

Стародум. Мне приятно расположение души твоей. С радостью подам тебе мои советы. Слушай меня с таким вниманием, с какою искренностью я говорить буду. Поближе.

Софья подвигает стул свой.

Софья. Дядюшка! Всякое слово ваше врезано будет в сердце мое.

Стародум (с важным чистосердечием). Ты теперь в тех годах, в которых душа наслаждаться хочет всем бытием своим, разум хочет знать, а сердце чувствовать. Ты входишь теперь в свет, где первый шаг решит часто судьбу целой жизни, где всего чаще первая встреча бывает: умы, развращенные в своих понятиях, сердца, развращенные в своих чувствах. О мой друг! Умей различить, умей остановиться с теми, которых дружба к тебе была б надежною порукою за твой разум и сердце.

Софья. Все мое старание употреблю заслужить доброе мнение людей достойных. Да как мне избежать, чтоб те, которые увидят, как от них я удаляюсь, не стали на меня злобиться? Не можно ль, дядюшка, найти такое средство, чтоб мне никто на свете зла не пожелал?

Стародум. Дурное расположение людей, не достойных почтения, не должно быть огорчительно. Знай, что зла никогда не желают тем, кого презирают, а обыкновенно желают зла тем, кто имеет право презирать. Люди не одному богатству, не одной знатности завидуют: и добродетель

также своих завистников имеет. Они всю силу стараются развратить невинное сердце, чтобы унижить его до себя самих; а разум, не имевший испытания, обольщают до того, чтоб полагать свое счастье не в том, в чем надобно.

Софья. Возможно ль, дядюшка, чтоб были в свете такие жалкие люди, в которых дурное чувство рождается точно от того, что есть в других хорошее. Добродетельный человек сжалиться должен над такими несчастными.

Стародум. Они жалки, это правда; однако для этого добродетельный человек не перестает идти своей дорогой. Подумай ты сама, какое было бы несчастье, ежели б солнце перестало светить для того, чтоб слабых глаз не ослепить?

Софья. Да скажите же мне, пожалуйста, виноваты ли они? Всякий ли человек может быть добродетелен?

Стародум. Поверь мне. Всякий найдет в себе довольно сил, чтоб быть добродетельным. Надобно захотеть решительно, а там всего будет легче не делать того, за что б совесть угрызала.

Софья. Кто ж остережет человека, кто не допустит до того, за что после мучит его совесть?

Стародум. Кто остережет? Та же совесть. Ведай, что совесть, как друг, всегда остерегает прежде, нежели как судья наказывает.

Софья. Так поэтому надобно, чтоб всякий порочный человек был действительно презрения достоин, когда делает он дурно, зная, что делает. Надобно, чтоб душа его была очень низка, когда она не выше дурного дела...

Стародум. И надобно, чтоб разум его был не прямой разум, когда он полагает свое счастье не в том, в чем надобно.

Софья. Мне казалось, дядюшка, что все люди согласились, в чем полагать свое счастье. Знатность, богатство. ..

Стародум. Так, мой друг! И я согласен назвать счастливым знатного и богатого. Да сперва согласимся, кто знатен и кто богат. У меня мой расчет. Степени знатности рассчитаю я по числу дел, которые большой господин сделал для отечества, а не по числу дел, которые нахватал на себя из высокомерия; не по числу людей, которые шатаются в его передней, а по числу людей, довольных его поведением и делами. Мой знатный человек, конечно, счастлив. Богач мой тоже. По моему расчету, не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундук, а тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтоб помочь тому, у кого нет нужного.

Софья. Как это справедливо! Как наружность нас ослепляет! Мне самой случилось видеть множество раз, как завидуют тому, кто у двора ищет и значит...

Стародум. А того не знают, что у двора всякий что-нибудь да значит и чего-нибудь да ищет. Того не знают, что у двора все придворные и у всех притворные. Нет! Тут завидовать нечему. Без знатных дел знатное состояние ничто.

Софья. Конечно, дядюшка! И такой знатный никого счастливым не делает, кроме себя одного.

Стародум. Как! А разве тот счастлив, кто счастлив один? Знай, что, как бы он знатен ни был, душа его прямого удовольствия не вкушает.

Вообрази себе человека, который бы всю свою знатность устремил на то только, чтоб ему одному было хорошо, который бы и достиг уже до того, чтоб самому ему ничего желать не оставалось. Ведь тогда вся душа его занялась бы одним чувством, одною болезнью: рано или поздно сверзиться. Скажи ж, мой друг, счастлив ли тот, кому нечего желать, а есть чего бояться?

Софья. Вижу, какая разница казаться счастливым и быть действительно. Да мне это непонятно, дядюшка, как можно человеку все помнить одного себя? Неужели не рассуждают, что один обязан другому? Где ж ум, которым так величаются?

Стародум. Чем умом величаться, друг мой! Ум, коль он только что ум, самая безделица. С пребеглыми умами видим мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену ему дает благонравие. Без него умный человек - чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума. Это легко

понять всякому, кто хорошенько подумает. Умов много и много разных. Умного человека легко извинить можно, если он какого-нибудь качества ума и не имеет. Честному человеку никак простить нельзя, ежели недостает в нем какого-нибудь качества сердца. Ему необходимо все иметь надобно. Достоинство сердца неразделимо. Честный человек должен быть совершенно честный человек.

Софья. Ваше изъяснение, дядюшка, сходно с моим внутренним чувством, которого я изъяснить не могла. Я теперь живо чувствую и достоинство честного человека, и его должность.

Стародум. Должность! А! мой друг! Как это слово у всех на языке и как мало его понимают! Всечасное употребление этого слова так нас с ним ознакомило, что, выговоря его, человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует. Если б люди понимали его важность, никто не мог бы вымолвить его без душевного почтения. Подумай, что такое должность. Это тот священный обет, которым обязаны мы всем тем, с кем живем и от кого зависим. Если б так должность исполняли, как об ней твердят, всякое состояние людей осталось бы при своем любочестии и было бы совершенно счастливо. Дворянин, например, считал бы за первое бесчестие не делать ничего, когда есть ему столько дела: есть люди, которым помогать; есть отечество, которому служить. Тогда не было б таких дворян, которых благородство, можно сказать, погребено с их предками. Дворянин, не достойный быть дворянином, – подлее его ничего на свете не знаю.

Софья. Возможно ль так себя унижить?

Стародум. Друг мой! Что сказал я о дворянине, распространим теперь вообще на человека. У каждого свои должности. Посмотрим, как они исполняются, каковы, например, большею частию мужа нынешнего света, не забудем, каковы и жены. О, мой сердечный друг! Теперь мне все твое внимание потребно. Возьмем в пример несчастный дом, каковых множество, где жена не имеет никакой сердечной дружбы к мужу, ни он к жене доверенности; где каждый с своей стороны своротили с пути добродетели. Вместо искреннего и снисходительного друга, жена видит в муже своем грубого и развращенного тирана. С другой стороны, вместо кротости, чистосердечия, свойств жены добродетельной, муж видит в душе своей жены одну своенравную наглость, а наглость в женщине есть вывеска порочного поведения. Оба стали друг другу в несносную тягость. Оба ни во что уже ставят доброе имя, потому что у обоих оно потеряно. Можно ль быть ужаснее их состояния? Дом брошен. Люди забывают долг повиновения, видя в самом господине своем раба гнусных страстей его. Имение расточается: оно сделалось ничье, когда хозяин его сам не свой. Дети, несчастные их дети, при жизни отца и матери уже осиротели. Отец, не имея почтения к жене своей, едва смеет их обнять, едва смеет отдаться нежнейшим чувствованиям человеческого сердца. Невинные младенцы лишены также и горячности матери. Она, не достойная иметь детей, уклоняется их ласки, видя в них или причины беспокойств своих, или упрек своего развращения. И какого воспитания ожидать детям от матери, потерявшей добродетель? Как ей учить их благонравию, которого в ней нет? В минуты, когда мысль их обращается на их состояние, какому аду должно быть в душах и мужа, и жены!

Софья. Боже мой! Отчего такие страшные несчастья!..

Стародум. Оттого, мой друг, что при нынешних супружествах редко с сердцем советуют. Дело о том, знатен ли, богат ли жених? Хороша ли, богата ли невеста? О благонравии вопросу нет. Никому и в голову не входит, что в глазах мыслящих людей честный человек без большого чина – презнатная особа; что добродетель все заменяет, а добродетели ничто заменить не может. Признаюсь тебе, что сердце мое тогда только будет спокойно, когда увижу тебя за мужем, достойным твоего сердца, когда взаимная любовь ваша...

Софья. Да как достойного мужа не любить дружески?

Стародум. Так. Только, пожалуй, не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила б. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила. Это будет гораздо прочнее. Тогда после двадцати лет женитьбы найдете в сердцах ваших прежнюю друг к другу привязанность. Муж благоразумный! Жена добродетельная! Что почтеннее быть может! Надобно,

мой друг, чтоб муж твой повиновался рассудку, а ты мужу, и будете оба совершенно благополучны...

Софья. Все, что вы ни говорите, трогает сердце мое...

Стародум (с нежнейшею горячностью). И мое восхищается, видя твою чувствительность. От тебя зависит твое счастье. Бог дал тебе все приятности твоего пола. Вижу в тебе сердце честного человека. Ты, мой сердечный друг, ты соединяешь в себе обоих полов совершенства.

Ласкаюсь, что горячность моя меня не обманывает, что добродетель...

Софья. Ты ею наполнил все мои чувства. (Бросаясь целовать его руки.)

Где она?

Стародум (целуя сам ее руки). Она в твоей душе. Благодарю бога, что в самой тебе нахожу твердое основание твоего счастья. Оно не будет зависеть ни от знатности, ни от богатства. Все это притти к тебе может; однако для тебя есть счастье всего этого больше. Это то, чтоб чувствовать себя достойною всех благ, которыми ты можешь наслаждаться.

..

Софья. Дядюшка! Истинное мое счастье то, что ты у меня есть. Я знаю цену...

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Камердинер. Камердинер подает письмо Стародуму.

Стародум. Откуда?

Камердинер. Из Москвы, с нарочным. (Отходит.)

Стародум (распечатав и смотря на подпись). Граф Честан. А! (Начиная читать, показывает вид, что глаза разобрать не могут.) Софьюшка! Очки мои на столе, в книге.

Софья (отходя). Тотчас, дядюшка.

ЯВЛЕНИЕ IV

Стародум (один). Он, конечно, пишет ко мне в том же, о чем в Москве сделал предложение. Я не знаю Милона; но когда дядя его, мой истинный друг, когда вся публика считает его честным и достойным человеком... Если свободно ее сердце...

ЯВЛЕНИЕ V

Стародум и Софья

Софья (подавая очки). Нашла, дядюшка. Стародум (читает)... "Я теперь только узнал... ведет в Москву свою команду... Он с вами должен встретиться... Сердечно буду рад, если он увидится с вами... Возьмите труд узнать образ мыслей его". (В сторону.) Конечно. Без того ее не выдам... "Вы найдете... Ваш истинный друг..." Хорошо. Это письмо до

тебя принадлежит. Я сказывал тебе, что молодой человек, похвальных свойств, представлен... Слова мои тебя смущают, друг мой сердечный. Я это и давеча приметил, и теперь вижу. Доверенность твоя ко мне... Софья. Могу ли я иметь на сердце что-нибудь от вас скрытое? Нет, дядюшка. Я чистосердечно скажу вам., .

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же, Правдин и Милон

Правдин. Позвольте представить вам господина Милона, моего истинного друга.

Стародум (в сторону). Милон!

Милон. Я почту за истинное счастье, если удостоюсь вашего доброго мнения, ваших ко мне милостей... Стародум. Граф Честан не свойственник ли ваш?

Милон. Он мне дядя.

Стародум. Мне очень приятно быть знакомому с человеком ваших качеств. Дядя ваш мне о вас говорил. Он отдает вам всю справедливость. Особливые достоинства...

Милон. Это его ко мне милость. В мои лета и в моем положении было бы непростительное высокомерие считать все то заслуженным, чем молодого человека ободряют достойные люди.

Правдин. Я наперед уверен, что друг мой приобретет вашу благосклонность, если вы узнаете его короче. Он бывал часто в доме сестрицы вашей...

Стародум оглядывается на Софью.

Софья (тихо Стародуму и в большой робости). И матушка любила его, как сына.

Стародум (Софье). Мне это очень приятно. (Милону.) Я слышал, что вы были в армии. Неустранимость ваша...

Милон. Я делал мою должность. Ни леты мои, ни чин, ни положение еще не позволили мне показать прямой неустранимости, буде есть во мне она.

Стародум. Как! Будучи в сражениях и подвергая жизнь свою...

Милон. Я подвергал ее, как прочие. Тут храбрость была такое качество сердца, какое солдату велит иметь начальник, а офицеру честь.

Признаюсь вам искренно, что показать прямой неустранимости не имел я еще никакого случая; испытать же себя сердечно желаю.

Стародум. Я крайне любопытен знать, в чем же полагаете вы прямую неустранимость?

Милон. Если позволите мне сказать мысль мою, я полагаю истинную неустранимость в душе, а не в сердце. У кого она в душе, у того, без всякого сомнения, и храброе сердце. В нашем военном ремесле храбр должен быть воин, неустраним военачальник. Он с холодной кровью усматривает все степени опасности, принимает нужные меры, славу свою предпочитает жизни: но что всего более – он для пользы отечества не устрашается забыть свою собственную славу. Неустранимость его состоит, следственно, не в том, чтоб презирать жизнь свою. Он ее никогда и не отваживает. Он умеет ею жертвовать.

Стародум. Справедливо. Вы прямую неустранимость полагаете в военачальнике. Свойственна ли же она и другим состояниям?

Милон. Она добродетель; следственно, нет состояния, которое ею не могло бы отличиться. Мне кажется, храбрость сердца доказывается в час сражения, а неустранимость души во всех испытаниях, во всех положениях жизни. И какая разница между бесстрашием солдата, который на приступе отваживает жизнь свою наряду с прочими, и между неустранимостью человека государственного, который говорит правду государю, отваживаясь его прогневать. Судья, который, не убоясь ни мщения, ни

угроз сильного, отдал справедливость беспомощному, в моих глазах герой. Как мала душа того, кто за безделицу вызовет на дуэль, перед тем, кто вступится за отсутствующего, которого честь при нем клеветники терзают! Я понимаю неустрашимость так... Стародум. Как понимать должно тому, у кого она в душе. Обоими меня, друг мой! Извини мое простосердечие. Я друг честных людей. Это чувство вкоренено в мое воспитание. В твоём вижу и почитаю добродетель, украшенную рассудком просвещенным.

Милон. Душа благородная!.. Нет... не могу скрывать более своего сердечного чувства... Нет; добродетель твоя извлекает силою своею все таинство души моей. Если мое сердце добродетельно, если стоит оно быть счастливо, от тебя зависит сделать его счастье. Я полагаю его в том, чтоб иметь женою любезную племянницу вашу. Взаимная наша склонность... Стародум (к Софье, с радостью). Как! Сердце твое умело отличить того, кого я сам предлагал тебе? Вот мой тебе жених... Софья. И я люблю его сердечно.

Стародум. Вы оба друг друга достойны. (В восхищении соединяя их руки.) От всей души моей даю вам мое согласие.

Милон (обнимая Стародума). Мое счастье несравненно!

Софья (целуя руки Стародумовы). Кто может быть счастливее меня!

Правдин. Как искренно я рад!

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и Скотинин

Скотинин. И я здесь.

Стародум. Зачем пожаловал?

Скотинин. За своей нуждой.

Стародум. А чем я могу служить?

Скотинин. Двумя словами.

Стародум. Какими это?

Скотинин. Обняв меня крепче, скажи: Софьюшка твоя.

Стародум. Не пустое ль затевать изволишь? Подумай-ко хорошенько.

Скотинин. Я никогда не думаю и наперед уверен, что коли и ты думать не станешь, то Софьюшка моя.

Стародум. Как же и ты хочешь, чтоб я отдал мою племянницу, за кого - не знаю.

Скотинин. Не знаешь, так скажу. Я Тарас Скотинин, в роде своем не последний. Род Скотининых великий и старинный. Пращура нашего ни в какой герольдии* не отыщешь.

Правдин (смеючись). Этак вы нас уверите, что он старше Адама?

Скотинин. А что ты думаешь? Хоть немногим...

* Герольдией называлось учреждение, в числе других дел регистрировавшее дворянские родословные.

Стародум (смеючись). То есть, пращур твой создан хоть в шестой же день, да немного попрежде Адама?

Скотинин. Нет, право? Так ты доброго мнения о старине моего рода?

Стародум. О! такого-то доброго, что я удивляюсь, как на твоём месте можно выбирать жену из другого рода, как из Скотининых?

Скотинин. Рассуди же, какое счастье Софьюшке быть за мною. Она дворянка...

Стародум. Экой человек! Да для того-то ты ей и не жених.

Скотинин. Уж я на то пошел. Пусть болтают, что Скотинин женился на дворяночке. Для меня все равно.

Стародум. Да для нее не все равно, когда скажут, что дворянка вышла за Скотинина.

Милон. Такое неравенство сделало б несчастье вас обоих.

Скотинин. Ба! Да этот что тут равняется? (Тихо Стародуму.) А! не отбивает ли?

Стародум (тихо Скотинину). Мне так кажется.

Скотинин (тем же тоном). Да где к чорту!

Стародум (тем же тоном). Тяжело.

Скотинин (громко, указывая на Милона). Кто ж из нас смешон? Ха, ха, ха, ха!

Стародум (смеется). Вижу, кто смешон.

Софья. Дядюшка! Как мне мило, что вы веселы.

Скотинин (Стародуму). Ба! Да ты весельчак.. Давича я думал, что к тебе приступу нет. Мне слова не сказал, а теперь все со мной смеешься.

Стародум. Таков человек, мой друг! Час на час не приходит.

Скотинин. Это и видно. Ведь и давича был я тот же Скотинин, а ты сердился.

Стародум. Была причина.

Скотинин. Я ее и знаю. Я и сам в этом таков же. Дома, когда зайду в клева, да найду их не в порядке, досада и возьмет. И ты, не в пронос слово, заехав сюда, нашел сестрин дом не лучше клевов, тебе и досадно.

Стародум. Ты меня счастливее. Меня трогают люди.

Скотинин. А меня так свиньи.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же, г-жа Простакова, Простаков, Митрофан и Еремеевна

Г-жа Простакова (входя). Все ли с тобою, Митрофанушка?

Митрофан. Ну, да уж не заботься.

Г-жа Простакова (Стародуму). Мы пришли, батюшка, потрудить вас теперь общею нашею просьбою. (Мужу и сыну.) Кланяйтесь.

Стародум. Какою, сударыня?

Г-жа Простакова. Во-первых, прошу милости всех садиться.

Все садятся, кроме Митрофана и Еремеевны.

Вот в чем дело, батюшка. За молитвы родителей наших, - нам, грешным, где б и умолить, - даровал нам господь Митрофанушку. Мы все делали, чтоб он у нас стал таков, как изволишь его видеть. Не угодно ль, мой батюшка, взять на себя труд и посмотреть, как он у нас выучен?

Стародум. О, сударыня! До моих ушей уже дошло, что он теперь только и отучиться изволил. Я узнал, кто его и учителя. Вижу наперед, какому грамотею ему быть надобно, учася у Кутейкина, и какому математику, учася у Цыфиркина. (К Правдину.) Любопытен бы я был послушать, чему немец-то его выучил.

Г-жа Простакова. Всем наукам, батюшка.

Простаков. Всему, мой отец.

Митрофан. Всему, чему изволишь.

Правдин (Митрофану). Чему ж бы, например?

Митрофан (подает ему книгу). Вот, грамматике.

Правдин (взяв книгу). Вижу. Это грамматика. Что ж вы в ней знаете?

Митрофан. Много. Существительна да прилагательна...

Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?

Митрофан. Дверь? Котора дверь?

Правдин. Котора дверь! Вот эта.

Митрофан. Эта? Прилагательна.

Правдин. Почему ж?

Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна.

Стародум. Так поэтому у тебя слово дурак прилагательное, потому что оно прилагается к глупому человеку?

Митрофан. И ведомо.

Г-жа Простакова. Что, какво, мой батюшка?

Простаков. Каково, мой отец?

Правдин. Нельзя лучше. В грамматике он силен.

Милон. Я думаю, не меньше и в истории.

Г-жа Простакова. То, мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник.

Скотинин. Митрофан по мне. Я сам без того глаз не сведу, чтоб выборный не рассказывал мне истории. Мастер, собачий сын, откуда что берется!

Г-жа Простакова. Однако все-таки не придет против Адама Адамыча.

Правдин (Митрофану). А далеко ли вы в истории?

Митрофан. Далеко ль? Какова история. В иной залетишь за тридевять земель, за тридесято царство.

Правдин. А! так этой-то истории учит вас Вральман?

Стародум. Вральман! Имя что-то знакомое.

Митрофан. Нет. Наш Адам Адамыч истории не рассказывает; он, что я же, сам охотник слушать.

Г-жа Простакова. Они оба заставляют себе рассказывать истории скотницу Хавронью.

Правдин. Да не у ней ли оба учились и географии?

Г-жа Простакова (сыну). Слышишь, друг мой сердечный? Это что за наука?

Митрофан (тихо матери). А я почем знаю.

Г-жа Простакова (тихо Митрофану). Не упрямясь, душенька. Теперь-то себя и показать.

Митрофан (тихо матери). Да я не возьму в толк, о чем спрашивают.

Г-жа Простакова (Правдину). Как, батюшка, назвал ты науку-то?

Правдин. География.

Г-жа Простакова (Митрофану). Слышишь, еоргафия.

Митрофан. Да что такое! Господи боже мой! Пристали с ножом к горлу.

Г-жа Простакова (Правдину). И ведомо, батюшка. Да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то, он ее и расскажет.

Правдин. Описание земли.

Г-жа Простакова (Стародуму). А к чему бы это служило на первый случай?

Стародум. На первый случай стодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.

Г-жа Простакова. Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка.

Стародум. О, конечно, сударыня. В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь.

Г-жа Простакова. Без наук люди живут и жили. Покойник батюшка воеводою был пятнадцать лет, а с тем и скончаться изволил, что не умел грамоте, а умел достаточек нажать и сохранить. Челобитчиков принимал всегда, бывало, сидя на железном сундуке. После всякого сундук отворит и что-нибудь положит. То-то экононом был! Жизни не жалел, чтоб из сундука ничего не вынуть. Перед другим не похваюсь, от вас не потаю, покойник-свет, лежа на сундуке с деньгами, умер, так сказать, с голоду. А! Каково это?

Стародум. Препохвально. Надобно быть Скотинину, чтоб вкусить такую блаженную картину.

Скотинин. Да коль доказывать, что ученье вздор, так возьмем дядю Вавилу Фалалеича. О грамоте никто от него не слыхивал, ни он ни от кого слышать не хотел. А какова была головушка!

Правдин. Что ж такое?

Скотинин. Да с ним на роду вот что случилось. Верхом на борзом иноходце разбежался он хмельной в каменны ворота. Мужик был рослый, ворота низки, забыл наклониться. Как хватит себя лбом о притолку, индо пригнуло дядю к похвям потылицею* , и бодрый конь вынес его из ворот к

крыльцу навзничь. Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб, который бы от такого тумака не развалился; а дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил только, целы ли ворота?

* Потылица-шея; к похвям - к нахвостному ремню у седла.

Милон. Вы, господин Скотинин, сами признаете себя неученым человеком; однако, я думаю, в этом случае и ваш лоб был бы не крепче ученого. Стародум (Милону). Об заклад не бейся. Я думаю, что Скотинины все родом крепколобы.

Г-жа Простакова. Батюшка мой! Да что за радость и выучиться? Мы это видим своими глазами и в нашем краю. Кто посмышленее, того свои же братья дворяне тотчас выберут еще в какую-нибудь должность.

Стародум. А кто посмышленее, тот и не откажет быть полезным своим согражданам.

Г-жа Простакова. Бог вас знает, как вы нынче судите. У нас, бывало, всякий того и смотрит, что на покой. (Правдину.) Ты сам, батюшка, сколько трудишься. Вот и теперь, сюда шедши, я видела, что к тебе несут какой-то пакет.

Правдин. Ко мне пакет? И мне никто этого не скажет! (Вставая.) Я прошу извинить меня, что нас оставлю. Может быть, есть ко мне какие-нибудь повеления от наместника.

Стародум (встает, и все встают). Поди, мой друг; однако я с тобою не прощаюсь.

Правдин. Я еще увижусь с вами. Вы завтра едете поутру?

Стародум. Часов в семь.

Правдин отходит.

Милон. А я завтра же, проводя вас, поведу мою команду. Теперь пойду сделать к тому распоряжение.

Милон отходит, прощаясь с Софьей взорами.

ЯВЛЕНИЕ IX

Г-жа Простакова, Митрофан, Простаков, Еремеевна, Стародум, Софья

Г-жа Простакова (Стародуму). Ну, мой батюшка! Ты довольно видел, каков Митрофанушка?

Скотинин. Ну, мой друг сердечный? Ты видишь, каков я?

Стародум. Узнал обоих, нельзя короче.

Скотинин. Быть ли ж за мною Софьюшке?

Стародум. Не бывать.

Г-жа Простакова. Жених ли ей Митрофанушка?

Стародум. Не жених.

Г-жа Простакова. А что б помешало?

Скотинин. За чем дело стало?

Стародум (сведя обоих). Вам одним за секрет сказать можно. Она стоворена. (Отходит и дает знак Софье, чтоб шла за ним.)

Г-жа Простакова. Ах, злодей!

Скотинин. Да он рехнулся.

Г-жа Простакова (с нетерпением). Когда они выедут?

Скотинин. Ведь ты слышала, поутру в семь часов. Г-жа Простакова. В семь часов. Скотинин. Завтре и я проснусь с светом вдруг. Будь он умен, как изволит, а и с Скотининым развяжешься не скоро. (Отходит.)

Г-жа Простакова (бегая по театру в злобе и в мыслях). В семь часов!.. Мы встанем поране... что захотела, поставлю на своем... Все ко мне!

Все подбегают.

Г-жа Простакова (к мужу). Завтра в шесть часов, чтоб карета подвезена была к заднему крыльцу. Слышишь ли ты? Не прозевай.

Простаков. Слушаю, мать моя..

Г-жа Простакова (к Еремеевне). Ты во всю ночь не смей вздремать у Софьиных дверей. Лишь она проснется, беги ко мне.

Еремеевна. Не промигну, моя матушка.

Г-жа Простакова (сыну). Ты, мой друг сердечный, сам в шесть часов будь совсем готов и не вели лакеям из комнат отлучаться.

Митрофан. Все будет сделано.

Г-жа Простакова. Подите ж с богом. (Все отходят.) А я уж знаю, что делать. Где гнев, тут и милость. Старик погневается да простит и за неволю. А мы свое возьмем.

Конец четвертого действия

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Стародум и Правдин

Правдин. Это был тот пакет, о котором при вас сама здешняя хозяйка вчера меня уведомила.

Стародум. Итак, имеешь теперь способ прекратить бесчеловечие злой помещицы?

Правдин. Мне поручено взять под опеку дом и деревни при первом бешенстве, от которого могли бы пострадать подвластные ей люди.

Стародум. Благодарение богу, что человечество найти защиту может! Поверь мне, где государь мыслит, где знает он, в чем его истинная слава, там человечеству не могут не возвращаться его права. Там все скоро ощутят, что каждый должен искать своего счастья и выгод в том одном, что законно, и что угнетать рабством себе подобных незаконно.

Правдин. Я в этом согласен с вами: да как мудрено истреблять закоренелые предрассудки, в которых низкие души находят свои выгоды! Стародум. Слушай, друг мой! Великий государь есть государь премудрый. Его дело показать людям прямое их благо. Слава премудрости его та, чтоб править людьми, потому что управляться с истуканами нет премудрости. Крестьянин, который плоше всех в деревне, выбирается обыкновенно пасти стадо, потому что немного надобно ума пасти скотину. Достойный престола государь стремится возвысить души своих подданных. Мы это видим своими глазами.

Правдин. Удовольствие, которым государи наслаждаются, владея свободными душами, должно быть столь велико, что я не понимаю, какие побуждения могли бы отвлекать...

Стародум. А! Сколь великой душе надобно быть в государе, чтобы стать на стезю истины и никогда с нее не совращаться! Сколько сетей расставлено к уловлению души человека, имеющего в руках своих судьбу себе подобных! И, во-первых, толпа скаредных льстецов всеминутно силится уверять его, что люди сотворены для него, а не он для людей.

Правдин. Без душевного презрения нельзя себе вообразить, что такое льстец.

Стародум. Льстец есть тварь, которая не только о других, ниже о себе

хорошего мнения не имеет. Все его стремления к тому, чтоб сперва ослепить ум у человека, а потом делать из него, что ему надобно. Он ночной вор, который сперва свечу погасит, а потом красть станет. Правдин. Несчастиям людским, конечно, причиною собственное их развращение; но способы сделать людей добрыми... Стародум. Они в руках государя. Как скоро все видят, что без благонравия никто не может выйти в люди; что ни подлой выслугой и ни за какие деньги нельзя купить того, чем награждается заслуга; что люди выбирают для мест, а не места похищаются людьми, тогда всякий находит свою выгоду быть благонравным и всякий хорош будет. Правдин. Справедливо. Великий государь дает... Стародум. Милость и дружбу тем, кому изволит; места и чины тем, кто достоин. Правдин. Чтоб в достойных людях не было недостатку, прилагается ныне особое старание о воспитании. . . Стародум. Оно и должно быть залогом благосостояния государства. Мы видим все несчастные следствия дурного воспитания. Ну что для отечества может выйти из Митрофанушки, за которого невежды-родители платят еще и деньги невеждам-учителям? Сколько дворян-отцов, которые нравственное воспитание сына своего поручают своему рабу крепостному! Лет через пятнадцать и выходят вместо одного раба двое, старый дядька да молодой барин. Правдин. Но особы высшего состояния просвещают детей своих... Стародум. Это все правда; да я желал бы, чтобы при всех науках не забывалась главная цель всех знаний человеческих - благонравие. Верь мне, что наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу. Я хотел бы, например, чтоб при воспитании сына знатного господина наставник его всякий день разогнул ему Историю и указал ему в ней два места: в одном, как великие люди способствовали благу своего отечества; в другом, как вельможа недостойный, употребивший во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей знатности низвергся в бездну презрения и поношения. Правдин. Надобно действительно, чтоб всякое состояние людей имело приличное себе воспитание; тогда можно быть уверену... Что за шум? Стародум. Что такое сделалось?

ЯВЛЕНИЕ II

Те же, Милон, Софья, Еремеевна

Милон (отталкивая от Софьи Еремеевну, которая за нее было уцепилась, кричит к людям, имея в руке обнаженную шпагу). Не смей никто подойти ко мне!

Софья (бросаясь к Стародуму). Ах, дядюшка! Защити меня.

Стародум. Друг мой! Что такое!

Правдин. Какое злодеяние!

Софья. Сердце мое трепещет!

Еремеевна. Пропала моя голоушка!

Милон. Злодеи! Идучи сюда, вижу множество людей, которые, подхватя ее под руки, несмотря на сопротивление и крик, сводят уже с крыльца к карете!

Софья. Вот мой избавитель!

Стародум. Друг мой!

Правдин (Еремеевне). Сейчас скажи, куда везти хотели, или как с злодейкой...

Еремеевна. Венчаться, мой батюшка, венчаться!

Г-жа Простакова (за кулисами). Плуты! Воры! Мошенники! Всех прибить

велю до смерти!

ЯВЛЕНИЕ III

Те же, г-жа Простакова, Простаков, Митрофан

Г-жа Простакова. Какая я госпожа в доме! (Указывая на Милона.) Чужой погрозит, приказ мой ни во что.

Простаков. Я ли виноват?

Митрофан. За людей приниматься!

Г-жа Простакова. Жива быть не хочу!

Правдин. Злодеяние, которому я сам свидетель, дает право вам, как дяде, а вам, как жениху...

Г-жа Простакова. Жениху!

Простаков. Хороши мы!

Митрофан. Все к чорту!

Правдин. Требовать от правительства, чтоб сделанная ей обида наказана была всею строгостью законов. Сейчас представлю ее перед суд, как нарушительницу гражданского спокойствия.

Г-жа Простакова (бросаясь на колени) Батюшки, виновата!

Правдин. Муж и сын не могли не иметь участия в злодеянии...

Простаков. Без вины виноват.

Митрофан. Виноват, дядюшка.

Г-жа Простакова. Ах я, собачья дочь! Что я наделала!

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Скотинин

Скотинин. Ну, сестра, хорошу было штуку... Ба! Что это? Все наши на коленях!

Г-жа Простакова (стоя на коленях). Ах, мои батюшки, повинную голову меч не сечет. Мой грех! Не губите меня. (К Софье.) Мать ты моя родная, прости меня. Умилосердись надо мною (указывая на мужа и сына) и над бедными сиротами.

Скотинин. Сестра! О своем ли ты уме?

Правдин. Молчи, Скотинин.

Г-жа Простакова. Бог даст тебе благополучие и с дорогим женихом твоим, что тебе в голове моей?

Софья (Стародуму). Дядюшка! Я мое оскорбление забываю.

Г-жа Простакова (подняв руки к Стародуму). Батюшка! Прости и ты меня, грешную. Ведь я человек, не ангел.

Стародум. Знаю, знаю, что человеку нельзя быть ангелом. Да не надобно быть и чортом.

Милон. И преступление, и раскаяние в ней презрения достойны.

Правдин (Стародуму). Ваша малейшая жалоба, ваше одно слово пред правительством... и уж спасти ее нельзя.

Стародум. Не хочу ничьей погибели. Я ее прощаю.

Все вскочили с коленей.

Г-жа Простакова. Простил! Ах, батюшка!.. Ну! Теперь-то дам я зорю канальям, своим людям. Теперь-то я всех переберу по одиночке. Теперь-то попытаюсь, кто из рук ее выпустил. Нет, мошенники! Нет, воры! Век не прощу этой насмешки.

Правдин. А за что вы хотите наказывать людей ваших?

Г-жа Простакова. Ах, батюшка, это что за вопрос? Разве я не властна и в своих людях?

Правдин. А вы считаете себя в праве драться тогда, когда вам вздумается?

Скотинин. Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет?

Правдин. Когда захочет! Да что за охота? Прямой ты Скотинин. (Г-же Простаковой.) Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен.

Г-жа Простакова. Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высесть не волен: да на что ж дан нам указ-от о вольности дворянства? *

* "Указ о вольности дворянской", изданный в 1762 году Петром III, предоставлял дворянству ряд преимуществ, в том числе освобождал дворян от обязательной службы государству. Простакова же понимает указ как разрешение дворянам делать все, что им захочется.

Стародум. Мастерца толковать указы!

Г-жа Простакова. Извольте насмехаться, а я теперь же всех с головы на голову... (Порывается итти.)

Правдин (останавливая ее). Поостановитесь, сударыня. (Вынув бумагу и важным голосом Простакову.) Именем правительства вам приказываю сей же час собрать людей и крестьян ваших для объявления им указа, что за бесчеловечие жены вашей, до которого попустило ее ваше крайнее слабомыслие, повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш и деревни.

Простаков. А! До чего мы дожили!

Г-жа Простакова. Как! Новая беда! За что, батюшка? Что я в своем доме госпожа...

Правдин. Госпожа бесчеловечная, которой злонравие в благоучрежденном государстве терпимо быть не может. (Простакову.) Подите.

Простаков (отходит, всплеснув руками). От кого это, матушка?

Г-жа Простакова (тоскуя). О, горе взяло! О, грустно!

Скотинин. Ба! ба! ба! Да этак и до меня доберутся. Да этак и всякой Скотинин может попасть под опеку... Уберусь же я отсюда по-добру, по-здорову.

Г-жа Простакова. Все теряю. Совсем погибаю!

Скотинин (Стародуму). Я шел было к тебе добиться толку. Жених...

Стародум (указывая на Милона). Вон он.

Скотинин. Ага! Так мне и делать здесь нечего. Кибитку впрячь, да и...

Правдин. Да и ступай к своим свиньям. Не забудь, однакож, повестить всем Скотининым, чему они подвержены.

Скотинин. Как друзей не остережь! Повешу им, чтоб они людей ...

Правдин. Побольше любили, или б, по крайней мере...

Скотинин. Ну...

Правдин. Хоть не трогали.

Скотинин (отходя). Хоть не трогали.

ЯВЛЕНИЕ V

Г-жа Простакова, Стародум, Правдин, Митрофан, Софья, Еремеевна

Г-жа Простакова (Правдину). Батюшка, не погуби ты меня, что тебе прибыли? Не возможно ль как-нибудь указ поотменить? Все ли указы

исполняются?

Правдин. Я от должности никак не отступлю.

Г-жа Простакова. Дай мне сроку хотя на три дни. (В сторону.) Я дала бы себя знать...

Правдин. Ни на три часа.

Стародум. Да, друг мой! Она и в три часа напроказить может столько, что веком не пособишь.

Г-жа Простакова. Да как вам, батюшка, самому входить в мелочи?

Правдин. Это мое дело. Чужое возвращено будет хозяевам, а...

Г-жа Простакова. А с долгами-то разделаться?.. Не доплачено учителям...

Правдин. Учителям? (Еремеевне.) Здесь ли они? Введи их сюда.

Еремеевна. Чай, что прибрели. А немца-то, мой батюшка?..

Правдин. Всех позови.

Еремеевна отходит.

Правдин. Не заботься ни о чем, сударыня, я всех удовольствую.

Стародум (видя в тоске г-жу Простакову). Сударыня! Ты сама себя почувствуешь лучше, потеряв силу делать другим дурно.

Г-жа Простакова. Благодарна за милость! Куда я гожусь, когда в моем доме моим же рукам и воли нет!

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же, Еремеевна, Вральман, Кутейкин, Цыфиркин

Еремеевна (введя учителей, к Правдину). Вот тебе и вся наша сволочь, мой батюшка.

Вральман (к Правдину). Фаше высоко-и-плахоротие. Исфолили меня к сепе прасить?..

Кутейкин (к Правдину). Зван бых, и приидох.

Цыфиркин (к Правдину). Что приказу будет, ваше благородие?

Стародум (с прихода Вральмана в него вглядывается). Ва! Это ты, Вральман?

Вральман (узнав Стародума). Ай! ай! ай! ай! ай! Это ты, мой милостивый хосподин. (Целуя полу Стародума.) Старофенька ли, мой отес, пошифать исфолишь?

Правдин. Как? Он вам знаком?

Стародум. Как не знаком? Он три года был у меня кучером.

Все показывают удивление.

Правдин. Изрядный учитель!

Стародум. А ты здесь в учителях. Вральман? Я думал, право, что ты человек добрый и не за свое не возьмешься.

Вральман. Та што телать, мой патюшка? Не я перфой, не я послетней. Три месеса ф Москфе шатался пез мест, кутшер нихте не ната. Пришло мне липо с голот мереть, либо ушитель...

Правдин (к учителям). По воле правительства став опекуном над здешним домом, я вас отпускаю.

Цыфиркин. Лучше не надо.

Кутейкин. Отпускать благоволите? Да прежде разочтемся...

Правдин. А что тебе надобно?

Кутейкин. Нет, милостивый господин, мой счетец зело не мал. За полгода за ученье, за обувь, что истаскал в три года, за простой, что сюда прибредешь, бывало, по-пустому, за...

Г-жа Простакова. Ненасытная душа! Кутейкин! За что это?

Правдин. Не мешайтесь, сударыня, я вас прошу.
Г-жа Простакова. Да коль пошло на правду, чему ты выучил Митрофанушку?
Кутейкин. Это его дело. Не мое.
Правдин (Кутейкину). Хорошо, хорошо. (Цыфиркину). Тебе много ль заплатить?
Цыфиркин. Мне? Ничего.
Г-жа Простакова. Ему, батюшка, за один год дано десять рублей, а еще за год ни полушки не заплачено.
Цыфиркин. Так: на те десять рублей я износил сапогов в два года. Мы и квиты.
Правдин. А за ученье?
Цыфиркин. Ничего.
Стародум. Как ничего?
Цыфиркин. Не возьму ничего. Он ничего не перенял.
Стародум. Да тем не меньше тебе заплатить надобно.
Цыфиркин. Не за что. Я государю служил с лишком двадцать лет. За службу деньги брал, по-пустому не бирал и не возьму.
Стародум. Вот прямой добрый человек!

Стародум и Милон вынимают из кошельков деньги.

Правдин. Тебе не стыдно, Кутейкин?
Кутейкин (потупя голову). Посрамихся, окаянный.
Стародум (Цыфиркину). Вот тебе, друг мой, за добрую душу.
Цыфиркин. Спасибо, ваше высокородие. Благодарен. Дарить меня ты волен. Сам не заслужа, век не потребу.
Милон (давая ему деньги). Вот еще тебе, друг мой!
Цыфиркин. И еще спасибо.

Правдин дает также ему деньги.

Цыфиркин. Да за что, ваше благородие, жалуете?
Правдин. За то, что ты не походишь на Кутейкина.
Цыфиркин. И! Ваше благородие. Я солдат. Правдин (Цыфиркину). Поди же, мой друг, с богом.

Цыфиркин отходит.

Правдин. А ты, Кутейкин, пожалуй-ка сюда завтра, да потрудись рассчесться с самой госпожою.
Кутейкин (выбегая). С самою! Ото всего отступаюсь.
Вральман (Стародуму). Старофа слуха не остафте, фаше фыскоротие. Фосмите меня апать к сепе.
Стародум. Да ты, Вральман, я чаю, отстал и от лошадей?
Вральман. Эй, нет, мой патюшка! Шиучи с стеш-ними хоспотами, касалось мне, што я фсе с лошатками.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и Камердинер

Камердинер (Стародуму). Карета ваша готова.
Вральман. Прикашишь мне дофести сепя?
Стародум. Поди садись на козлы.

Вральман отходит.

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Г-жа Простакова, Стародум, Милон, Софья, Правдин, Митрофан, Еремеевна

Стародум (к Правдину, держа руки Софьи и Милона). Ну, мой друг! Мы едем. Пожелай нам...

Правдин. Всего счастья, на которое имеют право честные сердца.

Г-жа Простакова (бросаясь обнимать сына). Один ты остался у меня, мой сердечный друг, Митрофанушка!

Митрофан. Да отвяжись, матушка, как навязалась...

Г-жа Простакова. И ты! И ты меня бросаешь! А! неблагодарный! (Упала в обморок.)

Софья (подбежав к ней). Боже мой! Она без памяти.

Стародум (Софье). Помоги ей, помоги.

Софья и Еремеевна помогают.

Правдин (Митрофану). Негодница! Тебе ли грубить матери? К тебе ее безумная любовь и довела ее всего больше до несчастья.

Митрофан. Да она как будто неведомо...

Правдин. Грубиян!

Стародум (Еремеевне). Что она теперь? Что?

Еремеевна (посмотрев пристально на г-жу Простакову и всплеснув руками). Очнется, мой батюшка, очнется.

Правдин (Митрофану). С тобой, дружок, знаю, что делать. Пошел-ко служить...

Митрофан (махнув рукою). По мне, куда велят...

Г-жа Простакова (очнувшись в отчаянии). Погибла я совсем! Отнята у меня власть! От стыда никуда глаз показать нельзя! Нет у меня сына!

Стародум (указав на г-жу Простакову). Вот злонравия достойные плоды!

Конец комедии

Карамзин Н. М. Избранные произведения: В 2 т. - М.; Л.: Худож. лит., 1964.

OCR Бычков М.Н. <mailto:bmnl@lib.ru>

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели - куда глаза глядят - по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты. Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си...нова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбацких лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодотворнейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом.

На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще 'далее, почти на краю горизонта, синятся Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалинах гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, - стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келий и представляю себе тех, которые в них жили, - печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах - с бледным лицом, с томным взором - смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит - и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет - и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества - печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженья в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончнн, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно

проливая слезы о смерти мужа своего - ибо и крестьянки любить умеют! - день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, которая осталась после отца пятнадцати лет, - одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь - ткала холсты, вязала чулки, весной рвала цветы, а летом брала ягоды - и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо бьющемуся сердцу, называла божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила бога, - чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери.

"Бог дал мне руки, чтобы работать, - говорила Лиза, - ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки".

Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих - ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. "На том свете, любезная Лиза, - отвечала горестная старушка, - на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть - что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро същется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю".

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы - и покраснелась. "Ты продаешь их, девушка?" - спросил он с улыбкою. "Продаю", - отвечала она. "А что тебе надобно?" - "Пять копеек". - "Это слишком дешево. Вот тебе рубль". Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, - еще более заскраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. "Для чего же?" - "Мне не надобно лишнего". - "Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня". Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку: "Куда же ты пойдешь, девушка?" - "Домой". - "А где дом твой?" Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось. "Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек..." - "Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос..." - "Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю господу бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти". У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали.

Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. "Никто не владеет вами!" - сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердца своем.

На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочил и закричала: "Ах!.." Молодой незнакомец стоял под окном.

"Что с тобой сделалось?" - спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела. "Ничего, матушка, - отвечала Лиза робким голосом, - я только его увидела". - "Кого?" - "Того господина, который купил у меня цветы". Старуха выглянула в окно.

Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего. "Здравствуй, добрая старушка! - сказал он. - Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?" Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей - может быть, для

того, что она его знала наперед, - побежала на погреб - принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, - схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил - и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами.

Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении - о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности, и проч. и проч. Он слушал ее со вниманием, но глаза его были - нужно ли сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блеснит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. - "Мне хотелось бы, - сказал он матери, - чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам". Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правой рукою. Старушка с охотой приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других.

Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти. "Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин?" - спросила старуха. "Меня зовут Эрастом", - отвечал он. "Эрастом, - сказала тихонько Лиза, - Эрастом!" Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: "Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!" Все Лизино сердце затрепетало. "Матушка! Матушка! Как этому статься? Он барин, а между крестьянами..." - Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои проводжали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. "Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям", - думал он и решился - по крайней мере на время - оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь - мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове природы. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: роши, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напиться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. - Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: "Если бы тот, кто занимается теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, - и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: "Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венки для

шляпы твоей". Он взглянул бы на меня с видом ласковым - взял бы, может быть, руку мою... Мечта!" Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом.

Вдруг Лиза услышала шум весел - взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке - Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и - мечта ее отчасти исполнилась: ибо он взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку... А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем - не могла отнять у него руки, не могла отворотиться, когда он приближался к ней с розовыми губами своими... Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящей! "Милая Лиза! - сказал Эраст. - Милая Лиза! Я люблю тебя!", и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и...

Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость - Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, - смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: "Люби меня!", и два часа показались им миготом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться. "Ах, Эраст! - сказала она. - Всегда ли ты будешь любить меня?" - "Всегда, милая Лиза, всегда!" - отвечал он. "И ты можешь мне дать в этом клятву?" - "Могу, любезная Лиза, могу!" - "Нет! Мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?" - "Нельзя, нельзя, милая Лиза!" - "Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!" - "Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего сказывать". - "Для чего же?" - "Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое". - "Нельзя статься". - "Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова". - "Хорошо: надобно тебя послушаться, хотя мне я, не хотелось бы ничего таить от нее".

Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видаться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видаться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. "Он меня любит!" - думала она и восхищалась сею мыслию. "Ах, матушка! - сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. - Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!" Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно в самом деле показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру. "Ах, Лиза! - говорила она. - Как все хорошо у господина бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травкою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?... Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали". А Лиза думала: "Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!"

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины) - дубов, осеменяющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископаный. Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались - но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и

непородны были их объятия. "Когда ты, - говорила Лиза Эрасту, - когда ты скажешь мне: "Люблю тебя, друг мой!", когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме Эраста. Чудно! Чудно, мой друг, что я, не зная тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен". Эраст восхищался своей пастушкой - так называл Лизу - и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми страстная дружба невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. "Я буду жить с Лизой, как брат с сестрой, - думал он, - не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!" Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее. "Я люблю ее, - говорила она, - и хочу ей добра, а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого". Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею. "Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться - до самого того часа, как люта смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!" Эраст слушал ее с неприятным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды вечером Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели. "Лиза, Лиза! Что с тобой случилось?" - "Ах, Эраст! Я плакала!" - "О чем? Что такое?" - "Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла". - "И ты соглашаешься?" - "Жестокий! Можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!" Эраст целовал Лизу, говорил, что ее счастье дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю. "Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!" - сказала Лиза с тихим вздохом. "Почему же?" - "Я крестьянка". - "Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная невинная душа, - и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу".

Она бросилась в его объятия - и в сей час надлежало погибнуть непорочности! Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей - никогда Лиза не казалась ему столь прелестною - никогда ласки ее не трогали его так сильно - никогда ее поцелуи не были столь пламенны - она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась - мрак вечера питал желания - ни одной звездочки не сияло на небе - никакой луч не мог осветить заблуждения. - Эраст чувствует в себе трепет - Лиза также, не зная, отчего, не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где - твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал - искал слов и не находил их. "Ах, я боюсь, - говорила Лиза, - боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя... Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь?.. Боже мой! Что такое?" Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала. "Эраст, Эраст! - сказала она. - Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!" Грозно шумела буря, дождь лился из черных облаков - казалось, что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним. "Ах, Эраст! Уверь меня, что мы будем по-прежнему счастливы!" - "Будем, Лиза, будем!" - отвечал он. - "Дай бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем... Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся".

Свидания их продолжались; но как все переменялось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы – одними ее любви исполненными взорами – одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог, – а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение всех желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспалял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог гордиться и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастье. Она видела в нем перемену и часто говорила ему: "Прежде бывал ты веселее, прежде бывали мы покойнее и счастливее, и прежде я не так боялась потерять любовь твою!" Иногда, прощаясь с ней, он говорил ей: "Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось важное дело", – и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видела его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал: "Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход". Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностью любви, спросила: "Тебе нельзя остаться?" – "Могу, – отвечал он, – но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества". – "Ах, когда так, – сказала Лиза, – то поезжай, поезжай, куда бог велит! Но тебя могут убить". – "Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза". – "Я умру, как скоро тебя не будет на свете". – "Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу". – "Дай бог! Дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать. Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я писала бы к тебе – о слезах своих!" – "Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала". – "Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое". – "Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся". – "Буду, буду думать о ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!"

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься с Лизиной матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что ласковый, пригожий барин ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав: "Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне". Старушка осыпала его благословениями. "Дай господи, – говорила она, – чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!" Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: "Прости, Лиза!.." Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бедную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала – Эраст плакал – оставил ее – она упала – стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся – далее – далее – и, наконец, скрылся – воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась

чувств и памяти.

Она пришла в себя - и свет показался ей уныл и печален. Все приятности природы сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. "Ах! - думала она. - Для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертью своею спасти его драгоценную жизнь. Пстой, пстой, любезный! Я лечу к тебе!" Уже хотела она бежать за Эрастом, но мысль: "У меня есть мать!" - остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединяясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда - хотя весьма редко - золотой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. "Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! Как все переменится!" От сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретила ей великолепная карета, и в сей карете увидела она Эраста. "Ах!" - закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дома, как вдруг почувствовал себя в Лизиных объятиях. Он побледнел - потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: "Лиза! Обстоятельства переменялись; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей - возьми их, - он положил ей деньги в карман, - позволь мне поцеловать тебя в последний раз - и пооди домой". Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге: "Проводи эту: девушку со двора".

Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте - готов проклинать его - но язык мой не движется - смотрю на него, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства - жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице, и в таком положении, которого никакого перо описать не может. "Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!" - вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза - встала с помощью сей доброй женщины - благодарила ее и пошла, сама не зная куда. "Мне нельзя жить, - думала Лиза, - нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! Небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!" Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость - осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге - кликнула ее, вынула из кармана десять империалов и, подавая ей, сказала: "Любезная Анята, любезная подружка! Отнеси эти деньги к матушке - они не краденые - скажи ей, что Лиза против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку, - к Э... На что знать его имя? - Скажи, что он изменил мне, - попроси, чтобы она меня простила, - бог будет ее помощником, поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую, скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, - скажи, что я..." Тут она бросилась в воду. Анята закричала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в деревню

- собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы там, в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела - глаза навек закрылись. Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: "Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!"

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могиле. Теперь, может быть, они уже примирились!

1792

Н.М. Карамзин

Остров Борнгольм

Друзья! прошло красное лето, золотая осень побледнела, зелень увяла, деревья стоят без плодов и без листьев, туманное небо волнуется, как мрачное море, зимний пух сыплется на хладную землю - простимся с природою до радостного весеннего свидания, укроемся от вьюг и метелей - укроемся в тихом кабинете своем! Время не должно тяготить нас: мы знаем лекарство от скуки. Друзья! Дуб и береза пылают в камине нашем - пусть свирепствует ветер и засыпает окна белом снегом! Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки, и повести, и всякие были.

Вы знаете, что я странствовал в чужих землях, далеко, далеко от моего отечества, далеко от вас, любимых моему сердцу, видел много чудного, слышал много удивительного, многое вам рассказывал, но не мог рассказать всего, что случилось со мною. Слушайте - я повествую - повествую истину, не выдумку.

Англия была крайним пределом моего путешествия. Там сказал я самому себе: "Отечество и друзья ожидают тебя; время успокоиться в их объятиях, время посвятить страннический жезл твой сыну Маину (Во время древности странники, возвращаясь в отечество, посвящали жезлы свои Меркурию.), время повесить его на густейшую ветвь того дерева, под которым играл ты в юных летах своих", - сказал и сел в Лондоне на корабль "Британию", чтобы плыть к любезным странам России.

Быстро катились мы на белых парусах вдоль цветущих берегов величественной Темзы. Уже беспредельное море засинелось перед нами, уже слышали мы шум его волнения - но вдруг переменился ветер, и корабль наш, в ожидании благоприятнейшего времени, должен был остановиться против местечка Гревзенда.

Вместе с капиталом вышел я на берег, гулял с покойным сердцем по зеленым лугам, украшенным природою и трудолюбием, - местам редким и живописным; наконец, утомленный жаром солнечным, лег на траву, под столетним вязом, близ морского берега, и смотрел на влажное пространство, на пенистые валы, которые в бесчисленных рядах из мрачной отдаленности неслись к острову с глухим ревом. Сей унылый шум и вид необозримых вод начинали

склонять меля к той дремоте, к тому сладостному бездействию души, в котором все идеи и все чувства останавливаются и цепенеют, подобно вдруг замерзающим ключевым струям, и которое есть самый разительнейший и самый пиитический образ смерти; но вдруг ветви потряслись над моею головою... Я взглянул и увидел - молодого человека, худого, бледного, томного, - более привидение, нежели человека. В одной руке держал он гитару, другою срывал листочки с дерева и смотрел на синее море неподвижными черными глазами своими, в которых сиял последний луч угасающей жизни. Взор мой не мог встретиться с его втором: чувства его были мертвы для внешних предметов; он стоял в двух шагах от меня, но не видал ничего, не слышал ничего. - "Несчастный молодой человек! - думал я. - Ты убит роком. Не знаю ни имени, ни рода твоего; но знаю, что ты несчастлив!"

Он вздохнул, поднял глаза к небу, опустил их опять па волны морские - отошел от дерева, сел на траву, заиграл па своей гитаре печальную прелюдию, смотря беспрестанно на море, и запел тихим голосом следующую песню (на датском языке, которому учил меня в Женеве приятель мой доктор NN):

Законы осуждают
Предмет моей любви:
Но кто, о сердце! может
Противиться тебе?

Какой закон святее
Твоих врожденных чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?

Люблю- любить ввек буду.
Кляните страсть мою,
Безжалостные души,
Жестокие сердца!

Священная природа!
Твой нежный друг и сын
Невинен пред тобою.
Ты сердце мне дала;

Твои дары благие
Украсили ее -
Природа! Ты хотела,
Чтоб Лилу я любил!

Твой гром гремел над нами,
Но пас не поражал,
Когда мы наслаждались
В объятиях любви. -

О Борнгольм, милый Борнгольм!
К тебе душа моя
Стремится беспрестанно;
Но тщетно слезы лью,

Томлюся и вздыхаю!
Навек я удален
Родительскою клятвой
От берегов твоих!,

Еще ли ты, о Лила!

Живешь в тоске своей?
Или в волнах шумящих
Скончала злую жизнь?

Явися мне, явися,
Любезнейшая тень!
Я сам в волнах шумящих
С тобою погребусь.

Тут, по невольному внутреннему движению, хотел я броситься к незнакомцу и прижать его к сердцу своему, по капитан мой в самую сию минуту взял меня за руку и сказал, что благоприятный ветер развеивает наши парусы и что нам не должно терять времени. - Мы поплыли. Молодой человек, бросив гитару и сложив руки, смотрел вслед за нами - смотрел на синее море.

Волны пенились под рулем корабля нашего, берег гревзендский скрылся в отдалении, северные провинции Англии чернелись на другом краю горизонта - наконец все исчезло, и птицы, которые долго вились над нами, полетели назад к берегу, как будто бы устрешенные необозримостью моря. Волнение шумных вод и туманное небо остались единственным предметом глаз наших, предметом величественным и страшным. - Друзья мои! Чтобы живо чувствовать всю дерзость человеческого духа, надобно быть на открытом море, где одна тонкая дощечка, как говорит Виланд, отделяет нас от влажной смерти, но где искусный пловец, распуская парусы, летит и в мыслях своих видит уже блеск золота, которым в другой части мира наградится смелая его предприимчивость. "Nil mortalibus arduum est" - "Нет для смертных невозможного", - думал я с Горацием, теряясь взором в бесконечности Нептунова царства.

Но скоро жестокий припадок морской болезни лишил меня чувства. Шесть дней глаза мои не открывались, и томное сердце, орошаемое пеною бурных волн, едва билось в груди моей. В седьмой день я ожил и хотя с бледным, по радостным лицом вышел на палубу. Солнце по чистому лазоревому своду катилось уже к западу, море, освещаемое златыми его лучами, шумело, корабль летел на всех парусах по грядкам рассекаемых валов, которые тщетно силились опередить его. Вокруг нас, в разном отдалении, развеивались белые, голубые и розовые флаги, а на правой стороне чернелось нечто подобное земле.

"Где мы?" - спросил я у капитана. - "Плавание наше благополучно, - сказал он, - мы прошли Зунд; берега Швеции скрылись от глаз наших. На правой стороне видите вы датский остров Борнгольм, место опасное для кораблей; там мели и камни таятся на дне морском. Когда наступит ночь, мы бросим якорь".

"Остров Борнгольм, остров Борнгольм!" - повторил я в мыслях, и образ молодого гревзендского незнакомца оживился в душе моей. Печальные звуки и слова песни его отозвались в моем слухе. "Они заключают в себе тайну сердца его, - думал я, - но кто он? Какие законы осуждают любовь несчастного? Какая клятва удалила его от берегов Борнгольма, столь ему милого? Узнаю ли когда-нибудь его историю?"

Между тем сильный ветер нес нас прямо к острову. Уже открылись грозные скалы его, откуда с шумом и пеною свергались кипящие ручьи во глубину морскую. Он казался со всех сторон неприступным, со всех сторон огражденным рукою величественной природы; ничего, кроме страшного, не представлялось на седых утесах. С ужасом видел я там образ

хладной, безмолвной вечности, образ неумолимой смерти и того неопisanного творческого могущества, перед которым все смертное трепетать должно.

Солнце погрузилось в волны – и мы бросили якорь. Ветер утих, и море едва-едва колебалось. Я смотрел на остров, который неизъяснимою силою влек меня к берегам своим; темное предчувствие говорило мне: "Там можешь удолетворить своему любопытству, и Борнгольм останется навеки в твоей памяти!" – Наконец, узнав, что недалеко от берега есть рыбацьи хижины, решил я просить у капитана шлюпки и ехать на остров с двумя или тремя матросами. Он говорил об опасности, о подводных камнях, но, видя непреклонность своего пассажира, согласился исполнить мое требование с тем условием, чтобы я на другой день рано поутру на корабль возвратился.

Мы поплыли и благополучно пристали к берегу в небольшом тихом заливе. Тут встретили нас рыбаки, люди грубые и дикие, выросшие на хладной стихии, под шумом валов морских и незнакомые с улыбкою дружелюбного приветствия; впрочем, не хитрые и не злые люди. Услышав, что мы желаем посмотреть острова и ночевать в их хижинах, они привязали нашу лодку и повели нас, сквозь распавшуюся кремнистую гору, к своим жилищам. Через полчаса вышли мы на пространную зеленую равнину, где, подобно как на долинах альпийских, рассеяны были низенькие деревянные домики, рощицы и громады камней. Тут оставил я своих матросов, а сам пошел далее, чтобы наслаждаться еще несколько времени приятностями вечера; мальчик лет тринадцати был проводником моим.

Алая заря не угасла еще на светлом небе, розовый свет ее сыпался на белые граниты и вдали, за высоким холмом, освещал острые башни древнего замка. Мальчик не мог сказать мне, кому принадлежал сей замок. "Мы туда не ходим, – говорил он, – и бог знает, что там делается!" – Я удвоил шаги свои и скоро приблизился к большому готическому зданию, окруженному глубоким рвом и высокою стеною. Везде царствовала тишина, вдали шумело море, последний луч вечернего света угасал на медных шпицах башен.

Я обошел вокруг замка – ворота были заперты, мосты подняты. Проводник мой боялся, сам не зная чего, и просил меня идти назад к хижинам, но мог ли любопытный человек уважить такую просьбу?

Наступила ночь, и вдруг раздался голос – эхо повторило его, и опять все умолкло. Мальчик от страха схватил меня обеими руками и дрожал, как преступник в час казни. Через минуту снова раздался голос – спрашивали: "Кто там?" – "Чужеземец, – сказал я, – приведенный любопытством на сей остров, и если гостеприимство почитается добродетелию в стенах вашего замка, то вы укроете странника на темное время ночи". – Ответа не было, но через несколько минут загремел и опустился с верху башни подъемный мост, с шумом отворились ворота – высокий человек, в длинном черном платье, встретил меня, взял за руку и повел в замок. Я оборотился назад, но мальчик, провожатый мой, скрылся.

Ворота хлопнули за нами, мост загремел и поднялся. Через обширный двор, заросший кустарником, крапивою и полынью, пришли мы к огромному дому, в котором светился огонь. Высокий перистиль в древнем вкусе вел к железному крыльцу, которого ступени звучали под ногами нашими. Везде было мрачно и пусто. В первой зале, окруженной внутри готическою колоннадою, висела лампада и едва-едва изливала бледный свет па ряды позлащенных столпов, которые от древности начинали разрушаться; в одном месте лежали части

карниза, в другом отломки пиластров, в третьем целые упавшие колонны. Путеводитель мой несколько раз взглядывал на меня пронзительными глазами, но не говорил ни слова.

Все сие сделало в сердце моем странное впечатление, смешанное отчасти с ужасом, отчасти с тайным неизъяснимым удовольствием или, лучше сказать, с приятным ожиданием чего-то чрезвычайного.

Мы прошли еще через две или три залы, подобные первой и освещенные такими же лампадами. Потом отворилась дверь направо - в углу небольшой комнаты сидел почтенный седовласый старец, облокотившись на стол, где горели две белые восковые свечи. Он поднял голову, взглянул на меня с какою-то печальной ласкою, подал мне слабую свою руку и сказал тихим, приятным голосом: "Хотя вечная горесть обитает в стенах здешнего замка, по странник, требующий гостеприимства, всегда найдет в нем мирное пристанище. Чужеземец! Я не знаю тебя, но ты человек - в умирающем сердце моем жива еще любовь к людям - мой дом, мои объятия тебе открыты". - Он обнял, посадил меня и, стараясь развеселить мрачный вид свой, уподоблялся хотя ясному, но хладному осеннему дню, который напоминает более горестную зиму, нежели радостное лето. Ему хотелось быть приветливым, - хотелось улыбкою вселить в меня доверенность и приятные чувства дружелюбия, но знаки сердечной печали, углубившиеся на лице его, не могли исчезнуть в одну минуту.

"Ты должен, молодой человек, - сказал он, - ты должен известить меня о происшествиях света, мною оставленного, но еще не совсем забытого. Давно живу я в уединении, давно не слышу ничего о судьбе людей. Скажи мне, царствует ли любовь на земном шаре? Курится ли фимиам на алтарях добродетели? Благоденствуют ли пароды в странах, тобою виденных?" - "Свет наук, - отвечал я, - распространяется более и более, но еще струится на земле кровь человеческая - льются слезы несчастных - хвалят имя добродетели и спорят о существовании ее". - Старец вздохнул и пожал плечами.

Узнав, что я россиянин, сказал он: "Мы происходим от одного народа с вашим. Древние жители островов Рюгена и Борнгольма были славяне. Но вы прежде нас озарились светом христианства. Уже великолепные храмы, единому богу посвященные, возносились к облакам в странах ваших, но мы, во мраке идолопоклонства, приносили кровавые жертвы бесчувственным истуканам. Уже в торжественных гимнах славили вы великого творца вселенной, но мы, ослепленные заблуждением, хвалили в нестройных песнях идолов баснословия". - Старец говорил со мною об истории северных народов, о происшествиях древности и новых времен, говорил так, что я должен был удивляться уму его, знаниям и даже красноречию.

Через полчаса он встал и пожелал мне доброй ночи. Слуга в черном платье, взяв со стола одну свечу, повел меня через длинные узкие переходы - и мы вошли в большую комнату, обвешанную древним оружием, мечами, копьями, латами и шишаками. В углу, под золотым балдахином, стояла высокая кровать, украшенная резьбою и древними барельефами.

Мне хотелось предложить множество вопросов сему человеку, но он, не дожидаясь их, поклонился и ушел; железная дверь хлопнула - звук страшно раздался в пустых стенах - и все утихло. Я лег на постелью - смотрел на древнее оружие, освещаемое сквозь маленькое окно слабым лучом месяца, - думал о своем хозяине, о первых словах его: "Здесь обитает вечная горесть", - мечтал о временах прошедших, о тех приключениях, которым сей древний замок

бывал свидетелем, - мечтал, подобно такому человеку, который между гробов и могил взирает на прах умерших и оживляет его в своем воображении. - Наконец образ печального гревзендского незнакомца представился душе моей, и я заснул.

Но сон мой не был покоен. Мне казалось, что все латы, висевшие на стене, превратились в рыцарей, что сии рыцари приближались ко мне с обнаженными мечами и с гневным лицом говорили: "Несчастный! Как дерзнул ты пристать к нашему острову? Разве не бледнеют плователи при виде гранитных берегов его? Как дерзнул ты войти в страшное святилище замка? Разве ужас его не гремит во всех окрестностях? Разве странник не удаляется от грозных его башен? Дерзкий! Умри за сие пагубное любопытство!" - Мечи застучали надо мною, удары сыпались на грудь мою, - но вдруг все скрылось, - я пробудился и через минуту опять заснул. Тут новая мечта возмутила дух мой. Мне казалось, что страшный "гром раздавался в замке, железные двери стучали, окна тряслися, пол колебался, и ужасное крылатое чудовище, которое описать не умею, с ревом и свистом летело к моей постели. Сновидение исчезло, но я не мог уже спать, чувствовал нужду в свежем воздухе, приблизился к окну, увидел подле него маленькую дверь, отворил ее и по крутой лестнице сошел в сад.

Ночь была ясная, свет полной луны осребрял темную зелень на древних дубах и вязах, которые составляли густую, длинную аллею. Шум морских волн соединялся с шумом листьев, потрясаемых ветром. Вдали белелись каменные горы, которые, подобно зубчатой стене, окружают остров Борнгольм; между ими и стенами замка виден был с одной стороны большой лес, а с другой - открытая равнина и маленькие рощицы.

Сердце все еще билось у меня от страшных сновидений, и кровь моя не переставала волноваться. Я вступил в темную аллею, под кров шумящих дубов и с некоторым благоговением углублялся во мрак ее. Мысль о друидах возбудилась в душе моей - и мне казалось, что я приближаюсь к тому святилищу, где хранятся все таинства и все ужасы их богослужения. Наконец сия длинная аллея привела меня к розмаринным кустам, за коими возвышался песчаный холм. Мне хотелось взойти на вершину его, чтобы оттуда при свете ясной луны взглянуть на картину моря и острова, но тут представилось глазам моим отверстие во внутренность холма; человек с трудом мог войти в него. Непреодолимое любопытство влекло меня в сию пещеру, которая походила более на дело рук человеческих, нежели на произведение дикой природы. Я вошел - почувствовал сырость и холод, но решился идти далее и, сделав шагов десять вперед, рассмотрел несколько ступеней вниз и широкую железную дверь; она, к моему удивлению, была не заперта. Как будто бы невольным образом рука моя отворила ее - тут, за железною решеткою, на которой висел большой замок, горела лампада, привязанная ко своду, а в углу, на соломенной постеле, лежала молодая бледная женщина в черном платье. Она спала; русые волосы, с которыми переплелись желтые соломинки, закрывали высокую грудь ее, едва, едва дышащую; одна рука, белая, но иссохшая, лежала на земле, а на другой покоилась голова спящей. Если бы живописец хотел изобразить томную, бесконечную, всегдашнюю скорбь, осыпанную маковыми цветами Морфея, то сия женщина могла бы служить прекрасным образцом для кисти его.

Друзья мои! Кого не трогает вид несчастного! Но вид молодой женщины, страдающей в подземной темнице, - вид слабейшего и любезнейшего из всех существ, угнетенного

судьбою, - мог бы влить чувство в самый камень. Я смотрел на нее с горестию и думал сам в себе: "Какая варварская рука лишила тебя дневного света? Неужели за какое-нибудь тяжкое преступление? Но милостивое лицо твое, но тихое движение груди твоей, но собственное сердце мое уверяют меня в твоей невинности!"

В самую сию минуту она проснулась - взглянула па решетку - увидела меня - изумилась - подняла голову - встала - приблизилась - потупила глаза в землю, как будто бы собираясь с мыслями, - снова устремила их на меня, хотела говорить и - не начинала.

"Если чувствительность странника, - сказал я через несколько минут молчания, - рукою судьбы приведенного в здешний замок и в эту пещеру, может облегчить твою участь, если искреннее его сострадание заслуживает твою доверенность, требуй его помощи!" - Она смотрела на меня неподвижными глазами, в которых видно было удивление, некоторое любопытство, нерешимость и сомнение. Наконец, после сильного внутреннего движения, которое как будто бы электрическим ударом потрясло грудь ее, отвечала твердым голосом: "Кто бы ты ни был, каким бы случаем ни зашел сюда, чужеземец, я не могу требовать от тебя ничего, кроме сожаления. Не в твоих силах переменить долю мою. Я лобызаю руку, которая меня наказывает". - "Но сердце твое невинно? - сказал я, - оно, конечно, не заслуживает такого жестокого наказания?" - "Сердце мое, - отвечала она, - могло быть в заблуждении. Бог простит слабую. Надеюсь, что жизнь моя скоро кончится. Оставь меня, незнакомец!" - Тут приблизилась она к решетке, взглянула на меня с ласкою и тихим голосом повторила: "Ради бога, оставь меня!.. Если он сам послал тебя - тот, которого страшное проклятие гремит всегда в моем слухе, - скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь, что сердце мое высохло от горести, что слезы не облегчают уже тоски моей. Скажи, что я без ропота, без жалоб сношу заключение, что я умру его нежною, несчастною..." - Она вдруг замолчала, задумалась, удалилась от решетки, стала на колени и закрыла руками лицо свое, через минуту посмотрела на меня, снова потупила глаза в землю и сказала с нежною робостию: "Ты, может быть, знаешь мою историю, но если не знаешь, то не спрашивай меня - ради бога, не спрашивай!.. Чужеземец, прости!" - Я хотел идти, сказав ей несколько слов, излившихся прямо из души моей, но взор мой еще встретился с ее взором - и мне показалось, что она хочет узнать от меня нечто важное для своего сердца. Я остановился, - ждал вопроса, но он, после глубокого вздоха, умер па бледных устах ее. Мы расстались.

Вышедши из пещеры, не хотел я затворить железной двери, чтобы свежий, чистый воздух сквозь решетку проник в темницу и облегчил дыхание несчастной. Заря алела на небе, птички пробудились, ветерок свевал росу с кустов и цветочков, которые росли вокруг песчаного холма. - "Боже мой! - думал я. - Боже мой! Как горестно быть исключенным из общества живых, вольных, радостных тварей, которыми везде населены необозримые пространства природы! В самом севере, среди высоких мшистых скал, ужасных для взора, творение руки твоей прекрасно, - творение руки твоей восхищает дух и сердце. И здесь, где пенистые волны от начала мира сражаются с гранитными утесами, - и здесь десница твоя напечатлела живые знаки творческой любви и благостию и здесь в час утра розы цветут па лазоревом небе, и здесь нежные зефиры дышат ароматами, и здесь зеленые ковры расстилаются, как мягкий бархат, под ногами человека, и здесь поют птички - поют весело для веселого,

печально для печального, приятно для всякого, и здесь скорбящее сердце в объятиях чувствительной природы может облегчиться от бремени своих горестей! Но - бедная, заключенная в темнице, не имеет сего утешения: роса утренняя не окропляет ее томного сердца, ветерок не освежает истлевшей груди, лучи солнечные не озаряют помраченных глаз ее, тихие бальзамические изливания луны не питают души ее кроткими сновидениями и приятными мечтами. Творец! Почто даровал ты людям гибельную власть делать несчастными друг друга и самих себя?" - - Силы мои ослабели, и глаза закрылись, под ветвями высокого дуба, на мягкой зелени.

Сон мой продолжался около двух часов.

"Дверь была отворена; чужестранец входил в пещеру",- вот что услышал я, проснувшись, - открыл глаза и увидел старца, хозяина своего; он сидел в задумчивости на дерновой лавке, шагах в пяти от меня; подле него стоял тот человек, который ввел меня в замок. Я подошел к ним. Старец взглянул на меня с некоторою суровостию, встал, пожал мою руку - и вид его сделался ласковее. Мы вошли вместе в густую аллею, не говоря ни слова. Казалось, что он в душе своей колебался и был в нерешимости, но вдруг остановился и, устремив на меня пронизательный, огненный взор, спросил твердым голосом: "Ты видел ее?" - "Видел, - отвечал я, - видел, не узнав, кто она и за что страдает в темнице". - "Узнаешь, - сказал он, - узнаешь, молодой человек, и сердце твое обольется кровию. Тогда спросишь у самого себя: за что небо излило всю чашу гнева своего на сего слабого, седого старца, старца, который любил добродетель, который чтит святыне законы его?" - Мы сели под деревом, и старец рассказал мне ужаснейшую историю - историю, которой вы теперь не услышите, друзья мои; она остается до другого времени. На сей раз скажу вам одно то, что я узнал тайну гревзендского незнакомца - тайну страшную!

Матросы дожидались меня у ворот замка. Мы возвратились на корабль, подняли парусы, и Борнгольм скрылся от глаз наших.

Море шумело. В горестной задумчивости стоял я на палубе, взявшись рукою за мачту. Вздохи теснили грудь мою - наконец я взглянул на небо - и ветер свеял в море слезу мою.

У графа В... был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; все шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.

В ту самую минуту как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты... одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое, правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли.

— Здравствуйте, мсье Лугин, — сказала Минская кому-то, — я устала... скажите что-нибудь! — и она опустилась в широкое пате возле камина; тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.

— Скучно, — сказала Минская и снова зевнула, — вы видите, я с вами не церемонюсь! — прибавила она,

— И у меня сплин! — отвечал Лугин.

— Вам опять хочется в Италию? — сказала она после некоторого молчания. — Не правда ли?

Лугин в свою очередь не слышал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы:

— Вообразите, какое со мной несчастье: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! — вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми, — и одни только люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет! все остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны.

Минская улыбнулась.

— Призовите доктора, — сказала она,

— Доктора не помогут — это сплин!

— Влюбитесь! (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «Мне бы хотелось его немножко помучить!»)

— В кого?

— Хоть в меня!

— Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно, — и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.

— А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?..

— Вот видите, — отвечал задумчиво Лугин, — я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти, но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке к стати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастью; я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? — вышло нет; я дурен — и следовательно, женщина меня любить не может, это ясно; артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел

подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне невероятных трудов и жертв, но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыть до полной, безотчетной любви; к моей страсти примешивалось всегда немного злости; все это грустно — а правда!..

— Какой вздор! — сказала Минская, но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.

Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; большие и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга, делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии — и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой; он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.

Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине.

Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гете: «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал.

— Куда вы? — спросила Минская.

— Прощайте.

— Еще рано.

Он опять сел.

— Знаете ли, — сказал он с какою-то важностию, — что я начинаю сходить с ума?

— Право?

— Кроме шуток. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера — и как вы думаете — что? — адрес: вот и теперь слышу: «В Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титулярного советника Штосса, квартира номер двадцать семь». И так шибко, шибко — точно торопится... Несносно!..

Он побледнел. Но Минская этого не заметила.

— Вы, однако, не видите того, кто говорит? — спросила она рассеянно.

— Нет. Но голос звонкий, резкий, дишкант.

— Когда же это началось?

— Признаться ли? я не могу сказать наверное... не знаю... ведь это, право, презабавно! — сказал он, принужденно улыбаясь.

— У вас кровь приливает к голове и в ушах звенит.

— Нет, нет. Научите, как мне избавиться?

— Самое лучшее средство, — сказала Минская, подумав с минуту, — идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, то для приличия закажите ему работу и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что... вы в самом деле нездоровы!.. — прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием.

— Вы правы, — отвечал угрюмо Лугин, — я непременно пойду.

Он встал, взял шляпу и вышел.
Она посмотрела ему вслед с удивлением.

2

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника, да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как, например... у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой, ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом нимало не заботился; засунув руки в карманы, повеся голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия или не имел ее вовсе. На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство.

— Где Столярный переулок? — спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатую полостью и насвистывая камаринскую.

Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.

Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулок? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.

— Столярный? — сказал мальчик, — а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо, первый переулок и будет Столярный,

Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидел небольшой грязный переулок, в котором с каждой стороны было не больше десяти высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «Где дом Штосса?»

— Штосса? Не знаю, барин, здесь этаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова, а подальше...

— Да мне надо Штосса...

— Ну не знаю, — Штосса!! — сказал лавочник, почесав затылок, и потом прибавил: — Нет, не слышать-с!

Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переулка, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения, как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидел над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.

Он подбежал к этим воротам — и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.

Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане, с седой, давно не бритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.

— Эй! дворник, — закричал Лугин.

Дворник что-то проворчал сквозь зубы.

— Чей это дом?

— Продан! — отвечал грубо дворник.

— Да чей он был?

— Чей? Кифейкина, купца.

— Не может быть, верно, Штосса! — вскрикнул невольно Лугин.

— Нет, был Кифейкина, а теперь так Штосса! — отвечал дворник, не подымая головы. У Лугина руки опустились.

Сердце его забилося, как будто предчувствуя несчастье. Должен ли он был продолжать свои исследования? не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться, хотя видим нас ожидающую бездну.

Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом:

— Новый хозяин здесь живет?

— Нет.

— А где же?

— А черт его знает.

— Ты уж давно здесь дворником?

— Давно.

— А есть в этом доме жильцы?

— Есть.

— Скажи, пожалуйста, — сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый, — кто живет в двадцать седьмом номере?

Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.

— В двадцать седьмом номере?.. да кому там жить! он уж бог знает сколько лет пустой.

— Разве его не нанимали?

— Как не нанимать, сударь, — нанимали.

— Как же ты говоришь, что в нем не живут!

— А бог их знает! так-таки не живут. Наймут на год, да и не переезжают.

— Ну, а кто его последний нанимал?

— Полковник, из анженеров, что ли!

— Отчего же он не жил?

— Да переехал было... а тут, говорят, его послали в Вятку — так номер пустой за ним и остался.

— А прежде полковника?

— Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев, — да этот и не переезжал; слышно, умер.

— А прежде барона?

— Нанимал купец для какой-то своей... гм! да обанкрутился, так у нас и задаток остался...

«Странно!» — подумал Лугин.

— А можно посмотреть номер?

Дворник опять пристально взглянул на него.

— Как нельзя? можно! — отвечал он и пошел, переваливаясь, за ключами.

Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они вошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность. Они, не знаю почему, понравились Лугину.

— Я беру эту квартиру, — сказал он. — Вели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри, сколько паутины! да надо хорошенько вытопить... — В эту минуту он заметил на стене

последней комнаты поясной портрет, изображающий человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, — платье, волосы, рука, перстни — все было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно брошенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший, — и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление — и прежнее выражение погребло невозвратно. В лице портрета дышало именно то *неизъяснимое*, возможное только гению или случаю.

«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» — подумал Лугин.

Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся.

Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.

— Что ж, барин? — проговорил он наконец.

— А!

— Как же? коли берете, так пожалуйста задаток.

Они условились в цене, Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в девять часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин.

«Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить, — думал Лугин. — Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться — это, конечно, странно! Но я взял свои меры: переехал тотчас! Что ж? — ничего!»

До двенадцати часов он с своим старым камердинером Никитой расставлял вещи...

Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.

Перед тем чтоб лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами:

Середа.

— Какой нынче день? — спросил он Никиту.

— Понедельник, сударь...

— Послезавтра среда! — сказал рассеянно Лугин.

— Точно так-с!..

Бог знает почему Лугин на него рассердился.

— Пошел вон! — закричал он, топнув ногою.

Старый Никита покачал головою и вышел.

После этого Лугин лег в постель и заснул.

На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.

3

В числе недоконченных картин, большею частию маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зелено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но, несмотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та

же головка, замаранная коричневой краской. То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал — женщину-ангела; причуда, понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его проведать, а сам себя он ежедневно обманывал с простодушным ребенком. С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это правда, однако в нем ничего не было отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в случайных их ласках побуждения посторонние и объясняя грубым и положительным образом самую явную их благосклонность. Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека с воображением.

В этот день, который был вторник, ничего особенного с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать — кисти выпадали из рук; пробовал читать — взоры его скользили над строками и читали совсем не то, что было написано; его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в ушах. Когда смерклось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна; он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал — ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться... он бросился на постель и заплакал; ему представилось все его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки, и он с ужасом заметил и признался, что он недостойн был любви безотчетной и истинной, и ему стало так больно! так тяжело!

Около полуночи он успокоился, сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить; все было тихо вокруг. Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика, и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! Он поднял глаза на портрет, висевший против него, — сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, закрипела; глаза его не могли оторваться от двери.

— Кто там? — вскрикнул он.

За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол.

— Кто это? — повторил он слабым голосом.

В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату; дверь отворялась сама; в той комнате было темно, как в погребе.

Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок; он медленно подвигался, приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно; губы сжаты; серые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрели прямо без цели,

И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой и улыбнулся.

— Что вам надобно? — сказал Лугин с храбростью отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить шандалом в незваного гостя.

Под халатом вздохнуло.

— Это несносно! — сказал Лугин задыхающимся голосом. Его мысли мешались. Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался; наконец принял прежний вид. «Хорошо, — подумал Лугин, — если это привидение, то я ему не поддамся».

— Не угодно ли, я вам промечу штосс? — сказал старичок.

Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном: — А на что же мы будем играть? я вас предвещаю, что душу свою на карту не поставлю! (Он думал этим озадачить привидение...) А если хотите, — продолжал он, — я поставлю клюнгер; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке.

Старичка эта шутка нимало не сконфузила.

— У меня в банке вот это! — отвечал он, протянув руку.

— Это? — сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево, — что это?

Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся.

— Мечите! — потом сказал он, оправившись, и, вынув из кармана клюнгер, положил его на карту. — Идет, темная.

Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она соника была убита; старичок протянул руку и взял золотой.

— Еще талью! — сказал с досадою Лугин.

Оно покачало головою.

— Что же это значит?

— В среду, — сказал старичок.

— А! в среду! — вскрикнул в бешенстве Лугин, — так нет же! не хочу в среду! завтра или никогда! слышишь ли?

Глаза странного гостя пронзительно засверкали, и он опять беспокойно зашевелился.

— Хорошо, — наконец сказал он, встал, поклонился и вышел, приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате опять захлопали туфли... и мало-помалу все утихло. У Лугина кровь стучала в голове молотком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!..

«Однако ж я не поддаюсь ему! — говорил он, стараясь себя утешить, — переупрямил. В среду! как бы не так! что я за сумасшедший! Это хорошо, очень хорошо!.. он у меня не отделается. А как похож на этот портрет!.. ужасно, ужасно похож! а! теперь я понимаю!..»

На этом слове он заснул в креслах. На другой день поутру никому о случившемся не говорил, просидел целый день дома и с лихорадочным нетерпением дожидался вечера.

«Однако я не посмотрел хорошенько на то, что у него в банке! — думал он, — верно, что-нибудь необыкновенное!»

Когда наступила полночь, он встал с своих кресел, вышел в соседнюю комнату, запер на ключ дверь, ведущую в переднюю, и возвратился на свое место; он недолго дожидался; опять раздался шорох, хлопанье туфель, кашель старика, и в дверях показалась его мертвая фигура. За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.

Старичок сел, как накануне, положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, по-видимому не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых Глаз, уже бросил было на стол два полуимпериала, как вдруг он опомнился.

— Позвольте, — сказал он, накрыв рукою свою колоду.

Старичок сидел неподвижен.

— Что бишь я хотел сказать! позвольте, — да!

Лугин запутался.

Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил:

— Хорошо... я с вами буду играть, я принимаю вызов, я не боюсь, только с условием: я должен знать, с кем играю! как ваша фамилия?

Старичок улыбнулся.

— Я иначе не играю, — проговорил Лугин, меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

— Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

— Штос? кто? — У Лугина руки опустились: он испугался.

В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыхание, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновение. Станный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновение обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты: но этого минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая... она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак... потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, — то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях, и плачем, и молим, и [радуемся бог знает чему, — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть, пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни, — он был этому очень рад.

Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.

— Завтра, — сказал Лугин.

Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал; но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому всё удваивал куши; он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой; *она* — не знаю, как назвать ее? — она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика; и всякий раз, когда карта Лугина была убита и он с грустным взором оборачивался к ней, на него смотрели эти страстные, глубокие глаза, которые, казалось, говорили: «Смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоя, во что бы то ни стало! я тебя люблю»... и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.

В.М.Жирмунский и Н.А.Сигал. У истоков европейского романтизма

Уолпол. Казот. Бекфорд. Фантастические повести.
Серия "Литературные памятники"
Издание подготовили В.М.Жирмунский и Н.А.Сигал
Л., "Наука", 1967
OCR Бычков М.Н. <mailto:bmnl@lib.ru>

1

Три повести, объединенные в этом сборнике, являются знаменательными вехами в истории европейских литератур. "Замок Отранто" Уолпола открывает собою длинную серию в свое время популярных "готических романов", "романов тайны и ужаса", но одновременно и романов исторических на средневековые темы, вершиной которых на новой, более высокой ступени развития являются средневековые романы Вальтера Скотта. "Влюбленный дьявол" Казота занимает первое по времени место в ряду романтических повествований с элементами фантастики, подчиненными новой психологической задаче - раскрытия подсознательных движений души; "Элексиры сатаны" Э. Т. А. Гофмана (связанные одновременно и с "готической" традицией) и философские романы Бальзака завершают развитие прозаической литературы этого направления, с "Ватика" Бекфорда начинается история романтического ориентализма, открытие "романтики Востока", отраженное не только в многочисленных повестях и романах, но еще больше в поэзии первой половины XIX в.: Байрон и Томас Мур, как романтические ориенталисты, а позднее в особенности Эдгар По, многим обязаны почину Бекфорда.

Однако эти черты нового романтического искусства выступают в названных трех произведениях еще непоследовательно и противоречиво; они еще не освободились от просветительского рационализма, характерного для литературной традиции классицизма XVIII в. Они относятся к переходной эпохе в истории европейских литератур, которая именно в силу своего исторически промежуточного характера получила название "предромантизма" (франц. *pre-romantisme*).

Термин этот употребляется в истории литературы для обозначения совокупности литературных явлений второй половины XVIII в., предшествующих романтизму начала XIX в. и в значительной степени предвосхищающих его тенденции.

Романтизм, как указывает Маркс, был первой реакцией "против французской революции и связанного с ней просветительства". Французская буржуазная революция 1789 г. с небывалой остротой раскрыла противоречия нового, буржуазного общества. Она показала, что царство разума, возведенное великими просветителями XVIII в., на самом деле является царством частной собственности и эксплуатации. Тем самым она вызвала общий кризис просветительской идеологии, выражением которого и явилась романтическая реакция XIX в. Но эта реакция подготовлялась уже в годы, непосредственно предшествовавшие французской революции, в недрах самого просветительского движения. Так было в особенности в Англии, которая еще в XVII в. проделала буржуазную революцию, завершившуюся в 1689 г. политическим компромиссом между капитализирующимся дворянством и торгово-промышленной буржуазией; в XVIII в. Англия уже испытала противоречия буржуазного развития, а во второй половине века вступила в полосу промышленного переворота, обострившего эти противоречия до крайней степени. Поэтому именно в Англии, раньше чем в

других европейских странах, наступает кризис просветительского мировоззрения и намечаются новые литературные тенденции, которые мы объединяем под названием "предромантизм".

Литература предромантизма противопоставляет индивидуальное чувство универсальности просветительского "разума", наивную природу и неиспорченные нравы "простых людей" - развращенности верхушечной городской цивилизации. В борьбе с господствующими нормами классицизма XVIII в. она выдвигает новые эстетические понятия: вместо идеала "прекрасного" - "живописное" или "оригинальное", "характерное"; вместо античного как универсальной нормы искусства - "готическое", "средневековое"; вместо "классического" - "романтическое" в первоначальном значении, близком понятию "романического" (от англ. romance - "средневековый рыцарский роман"): "романтические" приключения, "романтические" чувства, "романтические" картины природы и т. п.

В Англии предромантизм связан с сентиментально-меланхолической "кладбищенской" лирикой Юнга и Грея, с литературным возрождением Спенсера, Мильтона, Шекспира, забытых в период господства классических вкусов и норм, с обращением к национальной (средневековой) старине и к народному творчеству (баллады Перси). Во Франции, в предреволюционной ситуации, новые идеи получают яркую социальную направленность (Руссо). В Германии они представлены литературным переворотом 1760-1770 гг. - лирикой Клопштока, народнической критикой Гердера, периодом "бури и натиска" и развивается не без активного влияния английских и французских идей и образцов.

На этом общем историческом фоне европейского литературного развития 1760-1780 гг. должны восприниматься и повести Уолпола, Казота и Бекфорда. По сравнению с литературной традицией своего времени они означают расширение исторического и географического горизонта литературы, идеологически уже подготовленное эпохой Просвещения, но ставшего эстетически возможным лишь на новой ступени развития литературы, и новое понимание психологии человека в ее сложности и противоречивости, выходящее за рамки рационалистической эстетики.

Во многих отношениях как люди нового романтического века выступают эти три писателя и в своей личной биографии: в наименьшей степени - Уолпол, в наибольшей - Бекфорд. В этом смысле для них характерно романтическое переплетение жизненного переживания и поэзии: окраска жизни элементами творческой фантазии и отражение в творчестве самосознания личности. Биографическая легенда, создающаяся вокруг них, подсказана темами их художественного творчества.

2

Автор "Замка Отранто" Гораций Уолпол (Horatio или Horace Walpole, 1717-1797) был младшим сыном известного английского премьер-министра, главы партии вигов, сэра Роберта Уолпола, позднее награжденного титулом графа Орфордского (Earl of Orford). В качестве первого парламентского министра Англии Роберт Уолпол более двадцати лет (1721-1742) управлял всеми государственными делами своей страны.

Уолпол-сын получил воспитание, соответствующее его общественному положению: он окончил аристократический колледж в Итоне, давший ему хорошее классическое образование, учился в Кембриджском университете и совершил затем обязательное для молодого английского аристократа "большое путешествие" (grand tour) по Европе - через Швейцарию в Италию и Францию. Его спутником в последнем был его школьный товарищ Томас Грей, будущий прославленный английский поэт сентиментального направления (автор элегии "Сельское кладбище", 1751, переведенной впоследствии Жуковским), в дальнейшем - профессор Кембриджского университета, любитель и выдающийся знаток английской средневековой старины. Путешествие с Греем, человеком простого звания, находившимся на службе у молодого аристократа, закончилось ссорой и временным разрывом между друзьями. Однако влиянию Грея следует, вероятно, приписать, что Уолпол, воспитанный в классических вкусах эпохи

Просвещения, которым он в сущности оставался верен всю жизнь, в своих письмах из Швейцарии с восторгом говорит о "живописных", "романтических" красотах альпийского пейзажа, а позднее увлекается "готикой" и памятниками английской средневековой старины.

Вернувшись в Англию в 1741 г., Уолпол, благодаря влиянию отца, получил синекуру, обеспечившую его материально, и место члена парламента от партии вигов и проводил свои долгие досуги, живя богатым холостяком в своем имении в окрестностях Лондона. Он был образованным дилетантом в области литературы, искусства и археологии, писал посредственные стихи в обычной классической манере, напечатал ряд "ученых" трудов преимущественно исторического и антикварного содержания ("Мемуары царствований Георга I и Георга II", "Анекдоты о живописи", "Каталог английских авторов королевского и дворянского происхождения, со списком их трудов" и т. п.), в конце своей долгой жизни написал мемуары. Он прославился в особенности своей корреспонденцией - блестящими и остроумными письмами, отражающими в уме скептическом и пресыщенном впечатления жизни английского "большого света". В человеческом отношении особенно интересна занявшая поздние годы Уолпола переписка с мадам Дюдефан, французской аристократкой, блиставшей в молодости своей красотой и остроумием в парижских салонах времен Регентства, но сохранившей и в старости, когда с ней познакомился Уолпол, природный ум, тонкость чувств и изящество эпистолярного слога. Нежная дружба между ними, редкие встречи в Париже и переписка продолжались с 1765 по 1780 г., вплоть до смерти мадам Дюдефан, скончавшейся в возрасте 83 лет.

Существенную роль в литературном и художественном развитии своего времени Уолпол сыграл только своим участием в возрождении "готики".

Слово "готический" (gothic) в эстетике Просвещения было синонимом "варварского". Средневековое искусство рассматривалось как создание "готов", т. е. варваров, разрушивших античную культуру и классическое искусство, являющееся нормой прекрасного для всех времен и для всех народов. Поэтому в более широком смысле словом "готическое" обозначалось все, что связывалось с "варварским веком" (т. е. средневековьем) и его "предрассудками" - говоря словами английского философа-просветителя Шефтсбери: все "ложное, чудовищное, готическое, совершенно невозможное в природе и возникшее из убогого наследия рыцарства". Отсюда более специальное употребление слова "готический" для обозначения одного из стилей средневековой архитектуры как искусства "варварского", в противоположность классическому. Критик Аддисон, сравнивая в номере 160-м своего журнала "Зритель" (1711) римский Пантеон с готическим собором, не упустил случая сказать, что последний, будучи в несколько раз больше первого, производит гораздо менее величественное впечатление вследствие своего "мелочного" стиля.

Письма Грея из Франции и Италии и его позднейшее исследование - о "Нормандском зодчестве" (написано в 1754 г.) свидетельствуют о коренном изменении художественных вкусов. Близкие Грею критики братья Уортоны посвящают готической архитектуре восторженные страницы, Томас Уортон - в книге о Спенсере (1754), Джозеф Уортон - в своей критике поэта-классициста Попа (1758).

Одновременно с Уортонами с новой оценкой средневековой литературы и искусства выступает Ричард Херд (Richard Hurd). Его "Письма о рыцарстве и средневековых романах" ("Letters on Chivalry and Romance", 1762), подсказанные аналогичным по теме сочинением французского ученого Лакюрн де Сент-Пале (Lacurne de Sainte Palaye "Memoires sur l'ancienne Chevalerie", t. I, 1759), являются одной из наиболее влиятельных книг предромантизма. Задача ее - показать "преимущества готических нравов и вымыслов для устной поэзии по сравнению с классическими". Херд сравнивает рыцарское средневековье с героическим веком в изображении Гомера: великанов и волшебников рыцарского романа - с циклопами, средневековых менестрелей - с греческими аэдами, турниры - с олимпийскими играми, подвиги Ланселота и Амадиса - с Гераклом и Тезеем, убивающими чудовищ. Преимущество, по его мнению, везде на стороне "феодальных времен" с "их более высокой культурностью и более возвышенным и торжественным характером их суеверий".

С 1747 г. Уолпол, купив небольшое имение на берегу Темзы, неподалеку от Лондона, близ городка Туикнам, приступил к перестройке в соответствии со своими новыми вкусами маленького помещичьего дома, названного им Strawberry Hill ("Земляничный холм"). "Я собираюсь построить в Стробиерри Хилл маленький

готический замок, - писал он своим друзьям. - Если Вы можете найти для меня старинные цветные стекла, оружие или что-нибудь подобное, я буду Вам чрезвычайно обязан". Строительство продолжалось с значительными перерывами до 1770 г. В 1774 г. Уолпол напечатал подробное описание своей "виллы" малым тиражом в любительском издании, повторенном в расширенном виде в 1784 г. в его собственной типографии, которую он тем временем открыл в своем имении для публикации редких книг; оно было повторено еще раз с многочисленными иллюстрациями и чертежами в 1798 г. в роскошном посмертном полном собрании его сочинений (The Works of Horatio Walpole, Earl of Orford, 1798, vol. 2). Эти описания и прежде всего сама постройка послужили образцом для "возрождения готики" в архитектуре XVIII в. не только в Англии, но по всей Европе. Отражение этой моды мы встречаем и в русских парках того времени - в Гатчине, Павловске, Шувалове и др.

В "готическом замке" Уолпола была часовня, круглая башня, столовая, построенная по образцу монастырской трапезной, готическая галерея, - с крестовыми сводами, винтовыми лестницами, цветными стеклами в окнах, скульптурными каминами, резными потолками, старинной мебелью и средневековым оружием, собранным в "рыцарском зале", и множеством редких и ценных "древностей" самого разного происхождения. Грей в письме выражал свое восхищение "духом замка Строберри. За немногими исключениями он отличается чистотой и правильностью "готицизма", которые мне не приходилось наблюдать в других местах". Однако на самом деле стиль этого замка отличался пестротой и анахронизмами, столь характерными вообще для "готического возрождения" XVIII в.: смешение церковного и замкового зодчества с формами частных построек, архитектурных стилей разных веков и разных народов. Двери имели форму церковных порталов, резной потолок в галерее повторял рисунок надгробной часовни, образцом для каминного служила средневековая гробница Вестминстерского аббатства и т. п. Впрочем, во всем этом было отчасти и сознательное намерение строителя. В своем "Описании" он сообщал о желании представить в замке "стандартные образцы готической архитектуры, собранные в соборах и надгробных часовнях", с тем чтобы показать "возможность их использования для каминов, потолков, балюстрад, балконов и т. д.". "Я совсем не имел в виду сделать мой дом столь готическим, чтобы этим исключить удобство и современную утонченную роскошь... Он был построен так, чтобы удовлетворить мой собственный вкус и до некоторой степени воплотить мои собственные фантазии (visions)".

Эти "фантазии" подсказали Уолполу и содержание его "готической повести" ("gothic story"). Если верить его рассказу, он однажды заснул, с головой, как всегда "переполненной готическими рассказами", и увидел во сне старинный замок, где на балюстраде высокой лестницы лежала гигантская рука в железной перчатке. Проснувшись, Уолпол в тот же вечер принялся писать роман, не имея никакого предварительного плана, проработал над ним целую ночь и затем закончил свое произведение меньше чем через два месяца.

Первое издание "Замка Отранто" (1764) вышло без имени автора, который боялся за литературный успех своего необычного замысла. На титульном листе произведение было обозначено как английский перевод сочинения итальянца Онуфрио Муральто (итальянский перевод фамилии Уолпола), каноника церкви св. Николая в Отранто на юге Италии. Оригинал будто бы восходил к эпохе крестовых походов ("между 1095 и 1243 гг."), т. е. ко временам описанных событий, и был напечатан "готическими буквами" ("in black letters") в Неаполе в 1529 г. (литературный анахронизм, не требующий опровержения и характерный для "готики" Уолпола). В предисловии английский "переводчик", обозначенный именем В. Маршала, оправдывал "чудесный характер происшествий" психологической вероятностью поведения героев. "Допустим возможность фактов, и поступки действующих лиц будут соответствовать их положению".

Неожиданный успех книги позволил автору во втором издании 1765 г. назвать свое имя и объяснить свои художественные намерения. Он рассматривает свое произведение как попытку синтеза "двух типов романов - старинного и современного", фантастического и реального. В современном романе (подразумевается английский реалистический роман XVIII в.) "великие источники фантазии были закрыты благодаря слишком точному подражанию действительной жизни". Автор хотел "заставить героев мыслить, говорить и действовать так, как можно было бы предположить, что люди станут действовать в таких необыкновенных обстоятельствах".

Законный властитель Отранто Альфонсо Добрый был отравлен в крестовом походе своим вассалом Рикардо, завладевшим по подложному завещанию его княжеством и замком. В народной молве сохранилось предсказание, что замок вернется во владение потомков Альфонсо, когда старому владельцу станет тесно в, его стенах. Князь Манфред, внук Рикардо, нынешний властитель Отранто, знает тайну убийства и предсказание, но он всеми силами пытается отвлечь грядущую гибель. Для этого он решает женить своего единственного сына Конрада на Изабелле, последнем отпрыске законной династии. Такова завязка повествования, которая полностью разъясняется только в развязке.

Действие открывается без предварительной экспозиции: гигантский шлем с черными перьями, похожий на шлем черной мраморной статуи Альфонсо в его усыпальнице, падает посреди замкового двора и убивает своей тяжестью Конрада в утро его свадьбы с Изабеллой. Дальше чудеса следуют за чудесами. В одной из комнат замка появляются закованные в железо рука и нога неведомого гигантского рыцаря. Портрет Рикардо сходит со стены, чтобы остановить своего внука, преследующего Изабеллу. Когда потомок и законный наследник Альфонсо приходит в его надгробную часовню для свидания с дочерью Манфреда, из носа каменной статуи падают кровавые капли. Этот потомок, молодой крестьянин Теодор, выросший в изгнании и ничего не знающий о тайне своего происхождения, на самом деле является сыном Джерома, придворного капеллана Манфреда, в одежде которого скрывается граф Фальконара, женившийся на дочери Альфонсо. Чтобы покарать узурпатора и защитить свою дочь Изабеллу от посягательств, неожиданно с большой свитой появляется на сцене маркиз Фредерик Виченца, находившийся много лет в плену у сарацин. За ним несут огромный меч Альфонсо, под тяжестью которого стибаются 100 оруженосцев его свиты. Наконец, справедливость полностью торжествует. В припадке ярости и ослепления Манфред у гробницы Альфонсо убивает свою собственную дочь Матильду, приняв ее за Изабеллу. Из подземелья замка подымается гигантская фигура Альфонсо, который объявляет молодого крестьянина своим законным наследником.

Это "готическое" нагромождение страшного и сверхъестественного не свидетельствует о художественном мастерстве Уолпола, скорее - о степени его увлечения открытой им областью "романического" (romance). Но страшное уже не внешнего, а более тонкого, психологического характера показано и в душах героев, когда, например, невинная девушка, преследуемая злодеем, одна должна скитаться в мрачных подземельях замка и свеча в руке ее гаснет от порыва ветра.

Завязкой действия является тайное преступление, совершенное в прошлом, которое постепенно раскрывается в ходе действия. Раскрытие тайны определяет собой напряженность развития драматического сюжета; пять глав, из которых состоит повесть, следуют друг за другом, по-видимому в соответствии с замыслом автора, как пять действий классической трагедии. Развязка, намеченная в предсказании, имеет характер трагического рока, с которым воля человека, даже самого непреклонного и сильного, не в состоянии бороться. Идея "рока" и предсказание также были подсказаны Уолполу античной трагедией ("Эдип"), но у писателя XVIII в. она приобретает характер справедливого морального возмездия. С этим связана и тайна "благородного происхождения" положительного героя, преодолевающего все препятствия на своем пути - также не столько в результате собственных моральных усилий, сколько в соответствии со справедливым решением судьбы.

Однако главное художественное значение имеет не этот сюжет, а обстановка действия - средневековый замок, с его винтовыми лестницами, крестовыми ходами, потайными дверями, страшным подземельем и часовней в лесу, с обязательной фигурой "доброего капеллана". "Средневековый" характер этого замка - абстрактный и вневременной, как во всех произведениях "готики" XVIII в., начиная с замка Строрберри Хилл. Однако, в соответствии с антикварными увлечениями Уолпола, есть и попытка того, что можно было бы назвать "историческим колоритом": подробное описание торжественной процессии "рыцаря Вольшого Меча", маркиза Фредерика и его свиты, с герольдами, рыцарями, оруженосцами, "пехотинцами" и т. д., заканчивающееся вызовом на рыцарский поединок, в соответствии со старинным обычаем "божьего суда".

Этот "готический" элемент дополняется бытовым и сентиментальным, заимствованным из господствующей традиции английского чувствительного семейного романа XVIII в. Образу узурпатора Манфреда, героического злодея,

страстного и сильного человека, не лишенному известного трагического величия, противопоставляются его жена, добродетельная и кроткая страдалница, и две девушки-подруги, невинные и чистые, которые вынуждены спастись от его преследований. Любовь обеих девушек к скромному юноше Теодору, их защитнику, развивается в чувствительных и благородных формах английского сентиментального романа XVIII в. Разговоры слуг и прислужницы выдержаны в сниженном и слегка комическом бытовом тоне; в предисловии Уолпол защищал введение этих "простонародных персонажей" примером трагедий Шекспира: простодушие и наивность их разговоров "лишь резче оттеняет страсти и горести главных действующих лиц". В этом бытовом плане своей повести Уолпол не проявил особой оригинальности; может быть, именно поэтому он наметил традицию, которую прочно закрепили его многочисленные продолжатели.

Об успехе "Замка Отранто" у читателей свидетельствуют многочисленные переиздания (насчитывается около 30, из них 8 в XVIII в.), а также переводы на все европейские языки (первый французский - уже в 1767 г.). Еще показательнее - обилие подражаний, положивших начало новому жанру "готических" романов, или "романов тайны и ужаса", пользовавшемуся широкой популярностью в романтических литературах конца XVIII и первой половины XIX в.

Ближайшей ученицей Уолпола была Клара Рив (Clara Reeve, 1729-1807), автор "готической повести", получившей начиная со второго издания заглавие "Старый английский барон" ("The Old English Baron", 1777). Писательница целиком сохранила основной сюжет и главных героев "Замка Отранто", ограничившись перенесением действия в Англию, соответственным изменением имен, а главное - устранением того нагромождения сверхъестественного, которым грешил ее образец. Критикуя Уолпола в своем предисловии, она заявляла: "Механика чудесного (the machinery) имеет настолько искусственный характер, что она уничтожает тот самый эффект, на который она была рассчитана. Если бы повествование развивалось у самых границ возможного, этот эффект был бы сохранен". Из всего этого аппарата фантастики Клара Рив сохраняет только появление призрака, обличающего узурпатора. Уязвленный Уолпол иронически называл это подражание "Замок Отранто, сведенным к разуму и вероятности". Он же утверждал, что "любой процесс в лондонском уголовном суде интереснее, чем этот роман". Тем не менее и это произведение выдержало 16 изданий и несколько раз печаталось под одной обложкой с "Замок Отранто". Свидетельством его массовой популярности может служить кличка "старый английский барон", которой наградили Байрона его школьные товарищи.

Но наибольший международный успех имел готический роман созданного Уолполом типа под пером популярнейшей в конце XVIII в. английской писательницы Анны Рэдклифф (Anne Radcliffe, 1764-1823). Из шести ее романов наибольшей известностью пользовались "Удольфские тайны" ("The Mysteries of Udolpho", 1794) и "Итальянец" ("The Italian", 1797). Все они также переиздавались и переводились неоднократно; последний русский перевод "Удольфских тайн" появился в 1905 г. (издание А. Суворина).

Произведения Рэдклифф соединяют традиции новой "готической повести" с наследием английского сентиментального семейного романа XVIII в. К последнему восходят широкие масштабы повествования, совершенно отличного по своим темпам от сжатой манеры Уолпола. Обязательным центром действия остается старинный готический "замок" со всеми своими обычными аксессуарами, но писательница широко развертывает лирические описания природы, живописные пейзажи, которыми она славилась, а также широко изображает душевные переживания своих чувствительных героев. Вставные лирические стихотворения в сентиментальном духе усиливают поэтическую стихию произведения.

Чудесное в романах Рэдклифф всегда имеет мнимый характер; по ходу действия или в его конце оно разоблачается как обман чувств. Остается настроение таинственного, загадочного и страшного, мотивированное переживаниями героев, и сложные сюжетные тайны (в особенности тайны происхождения), на которых строится развитие событий. И те и другие поддерживают постоянную напряженность действия и занимательность повествования, в которых Рэдклифф достигает большого мастерства.

Семейный план романа, с его неизменно банальной любовной фабулой, с благородными и сентиментальными героями - невинными и добродетельными девушками, преследуемыми злодеями, и столь же добродетельными юношами, их защитниками, вырастающими (в силу семейной тайны) в скромной и безвестной

доле, не подымается, как и в повести Уолпола, над общим уровнем английских семейных романов. Но над ним возвышается образ героического злодея, который, по сравнению с узурпатором Манфредом, получил дальнейшее развитие и углубление. Мрачный и величественный, хищный и властный, с печатью тайны и преступлений на высоком бледном челе, нарушитель законов общества - вождь банды разбойников как Монтони в "Удольфских тайнах" или преступный монах как Скедони в "Итальянце", он в самых своих злодеяниях проявляет силу духа и личной воли, подымающую его над окружающей средой. Образ этот по своей внешности и некоторым внутренним чертам сыграл существенную роль в создании типа разочарованного героя, отщепенца от общества и борца против его законов, в романтических поэмах Байрона: разбойник Конрад в "Корсаре" напоминает Монтони, гяур, ставший монахом, в поэме того же названия заимствовал свой внешний облик от Скедони.

Не имея возможности останавливаться здесь на дальнейшей истории отражения готического романа в литературе европейского романтизма от "Монаха" Льюиса (1795) до "Мельмота-скитальца" Матюрина (1820) и "Жана Сбогара" Шарля Нодье (1818), мы можем только отметить, что английская традиция, восходящая в конечном счете к Уолполу, смешивается здесь с французской ("Влюбленный дьявол" Казота, 1772, и широко популярный "черный роман" - "roman noir" более позднего времени) и немецкой ("Разбойники" Шиллера, 1781, и массовая литература "страшных романов" - Schauerromane, вроде "Абеллино" Цшокке, 1793). Существенным в развитии этой литературы, частично имевшей вульгарно развлекательный характер, явилось дальнейшее углубление образа героического злодея, романтического индивидуалиста, борца против моральных предрассудков и социальных несправедливостей современного общества. С другой стороны, техника романов "тайны и ужаса" была использована для современной темы - изображения социальных ужасов буржуазного общества ("неистовая школа" французских романтиков, "Оливер Твист" Диккенса, 1837, и др.).

Другая, "историческая" сторона готического романа получила дальнейшее развитие в средневековых романах Вальтера Скотта ("Айвенго", 1820, и др.) и его последователей. Дилетантские антикварные интересы Уолпола явились первым началом подлинно научного изображения национального прошлого не только в его внешних исторических аксессуарах, но и в его движущих социальных силах. Статья Вальтера Скотта о "Замке Отранто", предпосланная выполненному им переизданию этого памятника, свидетельствует о его внимании к произведению своего предшественника (см. приложение I).

Широкое развитие получила и техника сюжетной тайны, нередко тайны рождения или преступной узурпации, как у Уолпола. Вальтер Скотт воспользовался ею в этом смысле в "Антиквари" (1816) и ряде других романов, Диккенс - в "Холодном Доме" (1852), "Тайне Эрвина Друда" и др. Друг и сотрудник Диккенса Уилки Коллинз широко использовал эту традицию для таинственного и занимательного повествования ("Женщина в белом", 1860, и др.).

Нельзя, разумеется, назвать Уолпола учителем этих авторов, во много раз превосходящих его по оригинальности и глубине художественного дарования и по более высокому, частью уже реалистическому развитию литературного мастерства. Однако за ним остается несомненная слава первооткрывателя в области новых тем и приемов повествования, созданных литературой романтизма и значительно углубивших понимание человеческой психологии в тех ее сторонах, которые не укладывались в простые формулы просветительского рационализма.

К "готической" тематике Уолпол вернулся еще раз после успеха "Замка Отранто" в трагедии "Таинственная мать" ("The Mysterious Mother", 1769). Действие и здесь перенесено в обстановку условного средневековья. Тайной является кровосмесительная связь героини, графини Нарбонской, которая в день кончины мужа соблазнила сына, переодевшись в платье своей камеристки, его возлюбленной. Плодом их встречи является Аделиза, которую мать воспитывает в незнании этой тайны, проводя свои дни в покаянии и молитвах. Возвращение сына, оставшегося в неведении о причине своего изгнания из замка, и его любовь к своей дочери и сестре Аделизе приводят к раскрытию тайны графини и к трагической развязке.

Драма Уолпола написана шекспировским белым стихом. Следуя за Шекспиром, автор стремился, как о том сообщается в послесловии, "отойти от общего пути

и внести нечто новое на нашу сцену", где безраздельно господствуют французские образцы. Между тем "наш гений и образ мысли отличны от французского". Мы связываем себя, пишет Уолпол, узкими рамками французских правил, хотя способны на гораздо большую "широту мысли", образцом которой является драма Шекспира.

Тем не менее сам Уолпол тщательно соблюдает принцип "трех единств" французской трагедии. Его пьеса разыгрывается в одном месте - на террасе "готического" замка, и в один день: это роковой день - 20 октября, - когда было совершено преступление и когда виновных постигает возмездие. Единство действия связано с быстротой и напряженностью драматического движения, неуклонно развивающегося к роковой развязке.

Драма Уолпола успеха не имела и никогда не ставилась на сцене. Тем не менее она положила начало новому "готическому" жанру "трагедии рока", широко популярному в эпоху романтизма в особенности в немецкой литературе, последним и художественно наиболее значительным представителем которого является австрийский драматург Грильпарцер (трагедия "Праматерь", 1817). Тайное преступление (часто кровосмешение) является и здесь обычной завязкой действия, трагическая развязка происходит в роковой день, когда совершено было преступление (ср. наиболее характерное произведение этого жанра - немецкую трагедию Захарии Вернера "24 февраля", 1810). Превращение рокового возмездия античной трагедии в темную, непреодолимую для человеческой воли таинственную силу характерно для "готических" традиций эпохи романтизма.

3

Жак Казот родился 7 октября 1719 г. в Дижоне в буржуазно-чиновничьей семье. Воспитывался он, как большинство молодых людей его круга, в коллеже иезуитов, потом изучал право. В 1741 г. он приехал в Париж с намерением добиться должности в морском ведомстве. В это же время он впервые пробует свои силы в литературе и завязывает знакомства в литературных кругах. Первые годы службы Казота в морских портах Франции, Гавре и Бресте, совпали с войной за австрийское наследство (1740-1748), во время которой ему пришлось участвовать в морских сражениях и побывать на острове Санто-Доминго.

В 1747 г. он получил назначение на остров Мартинику, где пробыл с небольшими перерывами двенадцать лет. В течение этого времени Казоту не раз пришлось испытать на себе самоуправство и произвол французских колониальных властей, а под конец он стал жертвой мошеннических махинаций иезуитских миссионеров. В 1759 г. Казот окончательно вернулся во Францию - с подорванным здоровьем, полуслепой; большую часть приобретенного на Мартинике состояния он перед отъездом предоставил иезуиту Лавалетту в займы под вексель, который должен был быть оплачен в Европе. Однако иезуитские организации отказались оплатить его. Не помогли и многократные обращения Казота в высшие инстанции иезуитского ордена. Такими же безрезультатными оказались и хлопоты в министерстве о пенсии. В 1760 г. Казот вышел в отставку и поселился в небольшом поместье в Эперне, откуда время от времени наезжал в Париж, поддерживая связи с литературными кругами и принимая участие в литературной жизни. В 1768 г. он был избран в провинциальную литературную академию своего родного города Дижона.

В последние годы жизни Казот увлекся мистическими идеями и стал членом одного из тайных обществ, получивших с середины XVIII в. широкое распространение в Европе, в особенности во Франции, под названием "масонских орденов". Общества эти преследовали просветительные и политические цели, заменяя политические партии и открытую борьбу против феодального режима, невозможную в условиях абсолютистского государства. Они создавали видимость социального равенства своих членов, противопоставляя сословному "общечеловеческое", и окружали себя таинственной обрядностью, частично заимствованной из средневековых книг по магии. Членами различных масонских орденов накануне Французской революции были многие выдающиеся писатели, ученые и будущие политические деятели - от герцога Филиппа Орлеанского, ближайшего родственника короля, до Кондорсе и Робеспьера.

С другой стороны, внутри масонства существовали течения, неудовлетворенные вероучением господствующей церкви, которые пытались заменить ее обряды и верования магическим ритуалом, обещавшим "посвященным" возможность "непосредственного" общения с миром духов и подчинения его власти человека.

Одним из таких тайных обществ, получивших общее название "иллюминатов" (буквально - "озаренных"), была секта мартинистов, последователей португальского теософа Мартинеса Паскуалиса. С ними и сблизился Казот в середине 1770-х годов. Биографическая легенда связывает его вступление в тайное общество с выходом в свет повести "Влюбленный дьявол" (1772). Вскоре после появления этой книги к Казоту якобы явился незнакомец, молчаливо приветствовавший его условным знаком тайного братства. В ответ на недоуменный вопрос писателя он пояснил, что считал его "одним из наших", то есть посвященных в тайный ритуал и философское учение своей секты, ибо то и другое получило достаточно верное отражение во "Влюбленном дьяволе". При этом незнакомец угрожал Казоту суровой карой за разглашение тайн ордена. Завязавшаяся затем беседа будто бы имела своим следствием "обращение" писателя в новую веру.

Если подлинные обстоятельства, приведшие Казота в секту мартинистов, остаются до конца невыясненными, то с гораздо большей определенностью можно установить время и причины его расхождения с ними. Оно последовало в самом начале революции из-за несогласия с политическими воззрениями мартинистов. Тогдашний глава секты Сен-Мартен и его последователи приветствовали революцию, возлагая на нее надежды социального преобразования общества в духе их идей. Казот же оставался до конца приверженцем монархии и даже пытался с помощью эмигрантских аристократических кругов организовать побег Людовика XVI (летом 1792 г.). Его письма попали в руки революционных властей, он был арестован, судим и казнен 24 сентября 1792 г.

Гибель на эшафоте, а также усиленные занятия мистикой и связь с тайными сектами и отдельными лицами, пользовавшимися репутацией "ясновидцев", послужили поводом для биографической легенды, которая окружила имя Казота романтическим ореолом и принесла ему в XIX в., в эпоху романтизма, едва ли не большую известность, чем его литературное творчество. Речь идет о знаменитом "пророчестве" Казота, впервые опубликованном в 1806 г. в "Посмертных сочинениях" его младшего современника, писателя Лагарпа (см. приложение II). Достоверность этого пророчества довольно рано подверглась сомнению; уже в середине XIX в. его подлинность была полностью отвергнута, и оно было отнесено к числу литературных мистификаций, широко распространенных в эпоху романтизма. Новейшие исследователи, в целом принимая эту точку зрения, вносят, однако, в нее некоторые поправки: опираясь на свидетельства лиц, общавшихся с Казотом в предреволюционные годы, они полагают, что мистически настроенный писатель, искренне считавший себя "ясновидцем", мог действительно высказывать в самой общей форме свои суждения о надвигающемся социальном перевороте и тех грозных последствиях, которые он нес с собой для тех, кто так или иначе был связан со старым режимом. Собственная судьба Казота, как и судьба других, более или менее известных лиц, дали затем Лагарпу конкретный материал для "Пророчества", сочиненного им уже после событий 1792-1793 гг. Этот эффектный и впечатляющий рассказ, построенный по принципу нарастающего драматизма - от непринужденно-легкомысленной салонной болтовни к зловещим прорицаниям и заключительному торжественно-библейскому иносказанию - пользовался широкой популярностью как у французских читателей, так и за границей. Одно из свидетельств тому - известное стихотворение Лермонтова "На буйном пиршестве задумчив он сидел..."

Литературная деятельность Казота началась в 1740-х годах, сразу по приезду в Париж. Его первые произведения - "Кошачья лапка" (1741) и "Тысяча и одна глупость" (1742) написаны в модном для того времени жанре волшебной сказки и выдержаны в манере рококо. Для них характерно обращение к условной восточной экзотике и фантастике с довольно ощутимым налетом эротики.

Отъезд на Мартинику прервал литературные занятия Казота, лишь во время кратковременного приезда во Францию в 1752 г. он принимает участие в развернувшемся тогда споре о преимуществах французской или итальянской музыки (так называемая "война буффионов"). В этом споре Казот выступил сторонником французской музыки и противником Руссо, защищавшего итальянскую.

По возвращении с Мартиники Казот пробует свои силы в разных жанрах; он

пишет басни в моралистически-назидательном духе, шуточную поэму "Новая Рамеида", посвященную его другу, племяннику известного композитора Рамо (впоследствии изображенному Дидро в его знаменитом диалоге), вместе с драматургом Седеном - либретто комической оперы "Сабо" (1768); данью начавшему входить в моду "жанру трубадур" явилась поэма на средневековый сюжет из эпохи крестовых походов "Оливье" (1763). Вышедший в 1767 г. роман "Импровизированный лорд" носит на себе явные следы влияния "Новой Элоизы" (хотя к воззрениям и личности Руссо Казот по-прежнему относился враждебно). Между 1778-1788 гг. написан роман "Ракель или Прекрасная иудейка", описывающий трагическую историю любви испанского короля Альфонса VIII к еврейской девушке (сюжет, в дальнейшем обработанный в драме Грильпарцера "Еврейка из Толедо" и в наши дни в романе Фейхтвангера "Испанская баллада"). Последнее произведение Казота "Продолжение 1001 ночи" (1788-1789) вновь возвращает нас к условной восточной экзотике традиционного жанра волшебной сказки. Впрочем, в наиболее значительной из этих сказок - "Истории Мограби" Казот использует подлинные арабские фольклорные источники, вкладывая в них излюбленную морально-философскую идею иллюминатов об извечной борьбе доброго и злого начал.

На фоне этой пестрой и довольно посредственной в художественном отношении продукции, отражающей колебания литературной моды во Франции между 1740 и 1780 гг., резко выделяется повесть "Влюбленный дьявол" - единственное произведение, вписавшее имя Казота в историю французской и мировой литературы. Идеиные и художественные тенденции эпохи, получившие малоиндивидуальное отражение в других сочинениях Казота, предстают здесь в гораздо более выпуклой и самостоятельной форме, а сочетание их определяет своеобразный характер произведения, ставшего единственным в своем роде образцом французской предромантической повести.

Литературные веяния, наложившие отпечаток на это произведение Казота, знаменуют кризис просветительского рационализма. Первые симптомы этого кризиса обнаруживаются в середине века, когда в литературе и в быту начинает проступать новое осмысление фантастики. Наблюдается растущее увлечение (в особенности среди высшего общества) алхимией, магией и каббалой, поиски "философского камня", интерес к сочинениям натурфилософов XVI-XVII вв. - Парацельса, Якова Беме и к современной теософии (в частности - к Сведенборгу).

Литературная продукция, отражающая эти модные увлечения, весьма обильна: одна лишь серия "Фантастические путешествия, сны, видения и каббалистические романы", выходящая в 1770-1780-х годах, насчитывает несколько десятков томов.

Эти тенденции получают и довольно широкое бытовое преломление, нередко вырождаясь в обыкновенное шарлатанство, спекуляцию на моде, которую используют в своих целях авантюристы вроде Калиостро и графа Сен-Жермена. Одновременно эти настроения отражают и более глубокую неудовлетворенность тем прямолинейным и механистическим объяснением мира, который давала современная рационалистическая философия. Усложнившиеся представления о природе, обогащенные достижениями естественных наук, уже не поддаются религиозной догматике. С другой стороны, и философский детерминизм мыслителей эпохи Просвещения оказывается несостоятельным перед лицом все возрастающих противоречий общественной действительности. Возникают первые, наивные и неумелые попытки понять мир в его динамике, раскрыть таинственные и сложные связи человека с окружающей его живой и неживой природой, разрешить загадку случайности и необходимости, сцепления причин и следствий в природе и истории. Старый картезианский принцип "разделения трудностей", рационалистического анализа сложных явлений сменяется поисками целостного объяснения мира и человека. Обострение социальных противоречий, предчувствие надвигающегося кризиса и крушения старого мира принимают иррациональные, мистифицированные формы. Не случайно именно в эту пору попытки социального переустройства нередко выливаются в форму тайных мистических обществ и сект.

Под знаком этих идей переосмысляются и традиционные религиозные представления о дьяволе и злых демонах. На смену религиозной абстракции добра и зла приходит загадочный и сложный, поэтизированный и фантастический мир сверхъестественных существ - сильфид, эльфов, "духов стихий", могущественных, но не всесильных, бессмертных, но открытых страстям и страданиям, а главное - не поддающихся однозначной нравственной оценке с

точки зрения традиционных критериев добра и зла. Эти существа оказываются таинственным образом связанными с человеком: он может вступать с ними в общение и даже подчинять своей воле, хотя бы на время. Так, в своеобразной форме преломляется общепросветительская идея утверждения силы и значимости человеческой личности.

Представления об этих существах заимствуются частично из сочинений Парацельса и других, частично из народных поверий, облеченных в поэтическую форму баллад или сказаний, которыми начиная с 60-х годов XVIII в. все более пристально интересуются на севере Европы – в Англии, скандинавских странах, Германии.

Одновременно появляются первые проблески интереса к подсознательной сфере, делаются попытки понять и объяснить человека в его целостности, преодолеть метафизический дуализм души и тела, утверждаемый картезианской философией.

Искусство психологического анализа, поднятое на высоту большого художественного обобщения в трагедии классицизма, затем "приземленное", но доведенное до утонченного мастерства в галантном романе и повести французского рококо, было насквозь рационалистическим, оно вскрывало и описывало сознательную подоплеку человеческих поступков и поведения, но не могло, да и не пыталось вскрыть иррациональное, подсознательное. Во второй половине XVIII в. эта сфера подсознательного получает фантастическое истолкование: мир стихий, таинственных сверхъестественных существ не только окружает человека, влияя на его судьбу, – он присутствует в нем самом, в его душе, порою одерживая верх над голосом рассудка, становится символическим воплощением человеческих страстей, прежде всего, разумеется, самой "иррациональной" из них – любви, но иногда и более поверхностных, "бытовых" страстей.

Так, например, суеверный ореол возникает вокруг повального увлечения азартными играми, охватившего высшее общество всей Европы во второй половине XVIII в. В рассказах и мемуарах того времени оно нередко связывается с вещами снами, с появлением таинственных незнакомцев – посланников "иного мира", чародеев, ясновидцев, призраков, а порою и умалишенных, подсказывающих разорившемуся игроку "верные", беспроигрышные карты. Один из подобных анекдотов, фигурирующий в жизнеописании Калиостро, использован Пушкиным в "Пиковой даме".

Эти рассказы свидетельствуют не только о повышенном интересе к широко распространенному социально-бытовому явлению, принявшему накануне Французской революции угрожающие масштабы, но и о попытках философски осмыслить его, связав стихию случайности, воплощенную в карточной игре, со сферой сверхъестественного, иррационального. Тема азартной игры (в качестве таковой чаще всего выступает фараон, фигурирующий и в "Пиковой даме"), постепенно приобретающей таинственную, непостижимую власть над душой человека, его поступками и судьбой, осмысляется как воплощение слепых сил, враждебного рока, противостоящего разуму, сознательной свободной воле и нравственному началу.

Вместе с тем игра в этом мистическом истолковании обладает своими собственными внутренними законами, своей логикой, скрытой от непосвященных и выраженной в абстрактных числовых символах. Значение этих символов, а следовательно, и управление случайностью азартной игры, доступно существам, наделенным высшим магическим знанием. Отражение этих представлений мы видим и во "Влюбленном дьяволе".

Таким образом, ощущение фантастики пронизывает реальную жизнь в самых, казалось бы, бытовых ее проявлениях. Фантастика перестает быть иносказательным приемом, затейливой виньеткой к развлекательной истории в духе литературы рококо, а становится элементом мировоззрения, осмысления действительности, предвещаая в этом отношении эпоху романтизма.

Именно такую, существенно новую для французской литературы XVIII в. функцию фантастики мы видим в повести Казота.

Уже в двух более ранних его произведениях – поэме "Оливье" и романе "Импровизированный лорд" – встречаются элементы фантастики, включенные в повествование, претендующее на достоверность – историческую или бытовую. Однако там фантастика получает рационалистическую мотивировку, оказывается мнимой, разоблачается как обманчивая видимость.

Сочетание "сверхъестественного" сюжетного мотива с привычными формами

рационалистического художественного мышления роднит оба этих произведения Казота с английским готическим романом, возникающим в эти же годы (любопытно отметить, что французский перевод "Замка Отранто" Уолпола вышел в том же 1767 г., когда был написан "Импровизированный лорд").

Элементы "готики" с ее специфическими аксессуарами - средневековыми руинами, призраками, кровавыми злодеяниями и последующим неотвратимым возмездием, нашли свое отражение и в двух балладах, введенных в поэму "Оливье". Баллады эти написаны в народном стиле, с характерным для фольклорной традиции припевом, не связанным с содержанием строфы; язык изобилует архаизмами и отклонениями от литературной нормы. Они представляют собой своеобразное и изолированное явление на фоне французской поэзии того времени, игнорировавшей народное поэтическое творчество как наследие "варварского" средневековья. Впоследствии на эти баллады обратил внимание поэт-романтик Жерар де Нерваль, знаток и ценитель французского фольклора, написавший большой биографический очерк о Казоте для нового издания "Влюбленного дьявола" (1845).

Таким образом, в творчестве Казота скрещиваются самые разнообразные тенденции, свойственные европейской предромантической литературе.

В повести "Влюбленный дьявол" соотношение фантастики и реальности существенно иное, нежели в более ранних произведениях. Здесь Казот уже не прибегает к рационалистической мотивировке и разоблачению мнимой фантастики. Напротив, с самого начала мир сверхъестественных явлений и духов выступает как реально существующий. К нему испытывает непреодолимое влечение любознательный герой повести - молодой знатный испанец дон Альвар. Фантастика проходит сквозь всеповествование не как внешняя орнаментальная подробность, а как равноправный элемент человеческого бытия, воплощенный в Бьондетте - таинственном существе, обладающем загадочной властью и вместе с тем наделенном конкретными психологическими и бытовыми чертами живой женщины. Прелестная девушка, называющая себя сильфидой и оказывающаяся в финале повести самим Вельзевулом, страстно любящая и одновременно деловито предусмотрительная в практических вопросах, самоотверженно преданная и вместе с тем весьма сведущая в эротических соблазнах, смиренно безропотная вначале и требовательно-деспотичная в конце, - этот сложный, сотканный из противоречий образ сочетает в себе жизненную реальность и психологическое правдоподобие, напоминающие героиню замечательной повести аббата Прево "Манон Леско", с таинственным ореолом, предвещающим романтические новеллы Гофмана, Фуке, Шарля Нодье и Жерара де Нерваля.

Все действие "Влюбленного дьявола" строится на борьбе дон Альвара, воспитанного в добрых традициях здравого смысла и дворянского кодекса чести, с иррациональным началом, воплощенным в его соблазнительнице Бьондетте, создании, порожденном его собственным; случайным капризом и самоуверенным бахвальством во время таинственного приключения в развалинах Портичи.

Фантасмагория волшебного пиршества с внезапным превращением мрачной пещеры в роскошно убранный зал, белой собачонки в хорошенького пажа, пажа в знаменитую певицу и т. п., весь этот эпизод, выдержанный в традиционном стиле волшебных сказок, незаметно переходит в плоскость совершенно реальных бытовых фактов, обстоятельств, отношений повседневной жизни. Возвращение дон Альвара в казарму, просьба мнимого пажа соблюсти приличия и пощадить его репутацию, игривая ночная сцена со сломанной кроватью - все это должно подчеркнуть подлинность того невероятного, что происходит с героем, и прежде всего - реальность самой Бьондетты.

Фантастическая героиня повести все время выступает в обрамлении зримых, конкретных вещей, осязаемых внешних деталей, которые должны подтвердить достоверность ее физического существования: табурет у клавиесина слишком низок, и она кладет на сиденье толстую нотную тетрадь, у нее нет гребня, и она расчесывает волосы руками, ее ранят - она истекает кровью. Сам дон Альвар, с первых же минут убежденный в ее зловещем происхождении, не может удержаться от замечания: "Вы бегаете по полу босиком, вы можете простудиться".

Эта конкретность бытовых деталей сопутствует всему дальнейшему ходу повествования. Венеция с ее гондолами и игорными домами, куртизанками и наемными убийцами, банкирскими конторами и карнавальным разгулом служит тем реальным фоном, на котором разворачивается фантастическая история "влюбленного дьявола" - история постепенного завоевания дон Альвара его

соблазнительницей. С таким же бытовым правдоподобием дан и заключительный эпизод крестьянской свадьбы а Эстрададуре с народными песнями, пляской, непринужденно и красочно воспроизведенной атмосферой сельского праздника (кстати сказать, мотив, совершенно необычный во французской литературе XVIII в.). Только появление гротескно очерченных фигур двух цыганок вносит в эту колоритную сцену элемент зловещей фантастики.

Вплоть до последних страниц повести фантастика тесно переплетается с реальностью, так и не получая никакого убедительного, "разумного" объяснения. После окончательной победы над добродетелью Альвара Бьондетта, на глазах у своего возлюбленного, вновь превращается в безобразную голову верблюда и исчезает, но в глазах хозяина фермы и жителей окрестных деревень она по-прежнему остается знатной дамой, щедро заплатившей за ночлег и торопящейся в свой родовой замок. А между тем сами эти участники свадебного пира и очевидцы ее поспешного отъезда оказываются, в свою очередь, иллюзорными видениями, возникшими в воображении героя в результате колдовских чар. Вполне реальный возница, доставивший его в родительский замок, исчезает прежде, чем кто-либо посторонний, непредвзятый мог бы подтвердить подлинность его существования.

Ощущение непостижимости, невероятности всего происходящего не покидает Альвара с первых минут появления Бьондетты, и самым невероятным кажется она сама, с ее страстной преданностью и покорным самоотречением. Ни трогательные заботы Бьондетты, ни ее откровенный рассказ о своем сверхъестественном происхождении не могут внести ясность в смятенную душу Альвара. "Все это кажется мне сном, - думает он, - но разве жизнь человеческая что-либо иное? Просто я вижу более удивительный сон, чем другие люди, - вот и все... Где возможное?.. Где невозможное?.."

Мотив сновидения, нередко выступающий в более ранних произведениях Казота как реальное истолкование отдельного фантастического происшествия, превращается здесь в целую концепцию, в способ истолкования жизни вообще - грань между иллюзией и действительностью стирается.

Новизна повести Казота проявляется и в трактовке любовной страсти. Если для донна Альвара - истинного сына своего фривольного века - она выступает прежде всего как плотский соблазн, постепенно приобретающий характер наваждения, то со стороны Бьондетты (по крайней мере в первой половине повести) она предстает как самозабвенное служение любимому существу, как жертвенное начало, воплощенное в женском образе и впоследствии поэтизированное в творчестве романтиков. Бьондетта безропотно терпит все унижения, которым подвергает ее Альвар, его грубость, равнодушие, измену. Она добровольно приносит в жертву своей любви удел неземного существа, обитающего в царстве духов и стихий, и в ответ встречает лишь недоверие и отчужденность. В этом смысле она отдаленно напоминает героиню знаменитой романтической повести Фуке "Ундина" (1811), переложенной на русский язык в стихах В. А. Жуковским. Кстати сказать, сведения о "духах стихий" - сильфах, гномах, саламандрах и ундинах - Фуке, подобно Казоту, почерпнул из сочинений Парацельса.

Что касается поучительной моралистической концовки "Влюбленного дьявола", до известной степени нейтрализующей эмоциональное впечатление от предшествующего повествования, то сам автор в своем ироническом "Эпilogue" дает весьма двусмысленную и неопределенную интерпретацию развязки и предостерегает читателя от чересчур досконального раскрытия аллегорий.

Несколько определеннее он высказался в предисловии, посвященном в основном характеристике гравюр, которыми было иллюстрировано первое издание:

"Остановимся на этом и скажем лишь одно слово по поводу самой книжки. Она была задумана в одну ночь и написана за один день. Не в пример обычному, это отнюдь не грабеж, учиняемый над автором, он написал ее ради собственного удовольствия и отчасти в назидание соотечественникам, ибо она исполнена нравственного смысла. Стиль ее стремительный, в ней нет ни модного остроумия, ни метафизики, ни учености, еще менее изящных кощунств и философских дерзостей; всего лишь одно маленькое убийство из-за угла, чтобы не слишком противоречить современным вкусам, - вот и все. Должно быть, автор почувствовал, что "человек, потерявший голову от любви, уже и так достоин сожаления; но когда хорошенькая женщина влюблена в него, ласкает его, преследует, вертит им, как угодно, и во что бы то ни стало хочет влюбить его в себя, - тогда это дьявол."

"Немало французов, умалчивающих об этом, побывали в таинственных гротах, произносили там свои заклинания, встречались с отвратительными чудовищами, которые, оглушив их своим страшным *Che vuoi?* в ответ на их слова, показывали им маленькое животное тринадцати или четырнадцати лет отроду. Оно красиво, его уводят с собой, купают, одевают по моде, нанимают всевозможных учителей; деньги, контракты, особняки – все пущено на ветер; животное становится хозяином, хозяин – животным. Но почему же? А потому, что французы не испанцы; потому что дьявол хитер; потому что он не всегда так страшен на вид, как его малюют".

"Влюбленный дьявол" неоднократно переиздавался при жизни автора и затем в XIX в. Однако примечательно, что влияние его сказалось на английской и немецкой литературе раньше, чем на французской. Это несомненно объясняется ярко выраженным предромантическим характером повести, отвечавшим тенденциям литературного развития Англии и Германии на рубеже XVIII–XIX вв. и пока еще чуждым Франции.

Так, совершенно очевидные сюжетные заимствования из "Влюбленного дьявола" мы встречаем в романе Льюиса "Монах" (1795). В одном из последних рассказов Э. Т. А. Гофмана "Дух стихий" повесть Казота упоминается как сюжетный источник, и сами персонажи проводят параллель между своими переживаниями и чувствами Альвара и Бьондетты.

Во Франции первым испытал на себе ощутимое влияние творчества и личности Казота представитель старшего поколения романтиков – Шарль Нодье, отдавший дань фантастике в своих новеллах ("Трильби", "Смарра" и др.). Перу Нодье принадлежит также обширный фрагмент неоконченного биографического романа "Господин Казот" (1836). Его примеру последовал один из младших романтиков Жерар де Нерваль, включивший свой очерк о Казоте в книгу "Иллюминаты" (1852) наряду с романизованными биографиями Калиостро и Ретифа де ла Бретона. Реминисценции и цитаты из "Влюбленного дьявола" (чаще всего знаменитое *Che vuoi?*) мы встречаем и в лирической поэзии XIX и XX вв. – у Бодлера и Г. Аполлинера.

В России первый анонимный перевод "Влюбленного дьявола" появился еще в 1794 г. Он имелся, наряду с полным 4-томным французским собранием сочинений Казота, в библиотеке Пушкина и, возможно, подсказал ему заглавие поэмы "Влюбленный бес", сохранившейся в виде чернового фрагмента.

Вновь интерес к Казоту в русской литературе пробудился в эпоху символизма. В 1915 г. в журнале "Северные записки" (ЭЭ 10–11) появился новый перевод "Влюбленного дьявола" со вступительной статьей Андрея Левинсона.

4

"Ватек. Арабская сказка" Уильяма Бекфорда, последняя по времени повесть в настоящем издании (*Vathek. Conte arabe*, 1787), – обязана своей темой развитию "ориентализма" в европейских литературах XVIII в.

Интерес к восточной тематике был связан с колониальной экспансией Франции и Англии, вытеснивших сперва Португалию и Испанию, потом Голландию из положения ведущих колониальных государств. Развитие торговых связей с Ближним и Средним Востоком, описания путешествий в Турцию, Персию, Индию, Китай, Сиам, пышные посольства восточных государей привлекали внимание к этому незнакомому миру. К концу XVII–началу XVIII в. относятся и первые научные востоковедческие труды. По арабскому (мусульманскому) востоку главным источником осведомления становится замечательная для своего времени "Восточная библиотека", энциклопедический словарь французского ориенталиста д'Эрбело (*D'Herbelot. Bibliothéque Orientale. Dictionnaire Universel contenant généralement tout ce qui regarde la connaissance des peuples de l'Orient*, 1697).

Продолжателем д'Эрбело, арабистом по специальности, был и Галлан, первый переводчик на французский язык сказок "Тысячи и одной ночи" (1704–1717, 12 томов). Его перевод, умело приспособлявший арабский оригинал к французским литературным вкусам XVIII в., имел огромный международный успех и положил начало моде на "восточные сказки". За ним последовали

"История персидской султанши и ее везиров. Турецкие сказки", одна из версий популярной в средневековой Европе "Повести о семи мудрецах", в переводе другого выдающегося французского ориенталиста Пети де ла Круа (Petit de La Croix), и его же перевод сборника "Тысяча и один день. Персидские сказки" (1710-1712), представлявшего продолжение "Тысячи и одной ночи". За ними последовал на протяжении первой половины XVIII в. длинный ряд "татарских", "могольских", "китайских", "индийских", "перуанских" и других сказок под аналогичными заглавиями: "Тысяча и один час", "Тысяча и один вечер", "Тысяча и одна любовная милость", "Тысяча и одна глупость" и т. п. или под другими, подсказанными той же "восточной" традицией: "Приключения Зелоиды и Аманзарифдины" (1715), "Приключения Абдаллы, сына Ханифа" (1712-1714), "Путешествия и приключения трех принцев из Серендиба" (1719) и многие другие. Большая часть этих книг представляет собрание рассказов с обрамлением типа "Тысячи и одной ночи". Переводы вскоре вытесняются подражаниями или самостоятельным творчеством на восточные мотивы; популярные любовные сюжеты европейских новеллистов эпохи Возрождения перелицовываются на восточный лад. Среди писателей, выступавших с такими мнимыми восточными рассказами, могут быть названы, в частности, Уолпол и Казот.

Очень быстро этот модный жанр получил распространение и в Англии. Переводы с французского языка на английский следовали по пятам за оригиналами. Английская версия "Тысяча и одной ночи" Галлана ("Arabian Nights Entertainments", вскоре после 1704 г.) выдержала несколько изданий, за ней последовали "турецкие" и "персидские" рассказы Пети де ла Круа (1708-1714), с полной свитой "китайских", "могольских", "татарских" и других "повестей" (по-английски: "tales").

Обращение писателей эпохи Просвещения к восточным темам обозначало прежде всего обогащение повествовательной прозы большим разнообразием развлекательных сюжетов, занимательными приключениями, часто эротического содержания, внешней декоративностью обстановки. По пути откровенной эротики использованы были восточные сюжеты в знаменитых в свое время "галантных романах" Кребиллона-сына (1700-1777), но также частично в произведениях Монтескье и Дидро ("гаремные" мотивы давали для этого богатый и эффектный материал).

Более принципиальное для просветительской литературы значение имело расширение географического и культурного кругозора, более широкое и универсальное понимание "общечеловеческой" природы разума, не ограниченного узкими местными национальными и историческими рамками. "Философский роман" эпохи Просвещения охотно пользуется сопоставлением религий, политического строя, обычаев и моральных норм европейских и восточных народов для показа их относительной и местной ограниченности и противопоставления тому, что мыслится как разумное и общечеловеческое. Просветительская сатира вкладывает в уста "восточного человека", как носителя природного здравого смысла, критику религиозных, моральных и социальных предрассудков современного европейского общества, либо, напротив, давая критику восточных нравов, она имеет в виду пороки европейской цивилизации ("Персидские письма" Монтескье, 1721). В философских романах Вольтера носителем общечеловеческого идеала разума и добродетели становится восточный мудрец ("Задиг", 1747).

В сущности, восточная фабула и восточный колорит не имеют в этих произведениях самостоятельного художественного значения: они являются своего рода аллегорическими апологами или баснями на морально-философскую тему.

В литературе английского Просвещения XVIII в. господствуют в этом смысле французские традиции: аллегорические восточные притчи Аддисона ("Видение Мирзы" в моральном еженедельнике "Зритель", 1711). "Гражданин мира" Голдсмита (1762) и поучительная повесть Самуэля Джонсона "Расселас" (1759) следуют тем же принципам, как Монтескье и Вольтер.

Предпосылки для самостоятельного художественного использования восточного материала впервые создаются в период предромантизма. От "Ватека" Бекфорда ведет начало романтическая трактовка восточной тематики - с перспективой дальних странствий и волнующих приключений, местным колоритом, любовной романтикой и фантастикой.

Автор "Ватека" Уильям Бекфорд (William Beckford, 1760-1844) по своему происхождению связан был с колониальной "экзотикой", вступившей в XVIII в. в круг интересов просвещенного европейца, хотя он сам ни разу в жизни не побывал на родине своих предков.

Бекфорды впервые упоминаются в середине XVII в., когда родоначальник этой торговой династии переселился вместе со своей семьей на о. Ямайку, в новую, недавно захваченную англичанами колонию в Карибском море. Богатство Бекфордов сложилось вместе с развитием английской колониальной торговли на огромных землях, захваченных под сахарные плантации и обрабатываемых дешевым трудом импортированных из Африки черных рабов.

Отец писателя, Уильям Бекфорд, переселившийся в Англию, стал ольдерманом и лордом-мэром Лондона (1762-1769). Он был в дружбе с лидерами оппозиции, со старшим Питтом (крестным отцом его сына) и демократом Уильямсом, и славился независимостью политических взглядов, на которую ему давало право его огромное состояние. В 1770 г. он стоял во главе делегации Сити, явившейся к королю Георгу III с "ремонастрацией" (протестом). Когда король отверг эту ремонастрацию, Бекфорд, вопреки придворному обычаю, вторично попросил слова и напомнил королю о правах "его народа", закрепленных в английской конституции и установленных "славной и необходимой революцией" 1689 г., - слова, которые впоследствии высечены были на его надгробном памятнике.

Богатство Уильяма Бекфорда старшего и его общественное положение позволили ему породниться с высшей аристократией. В 1756 г. он женился на Марии Гамильтон из старинного шотландского графского рода, происходившего по женской линии от Стюартов. Один из членов этой семьи граф Антуан Гамильтон эмигрировал во Францию вместе с королем Яковом II и прославился как французский писатель, автор "Мемуаров графа де Грамона" (1713) и арабских сказок "Contes de feerie", 1715, примыкающих к просветительской традиции, которые оказали некоторое влияние на автора "Ватика". Двоюродный брат Бекфорда, сэр Уильям Гамильтон, в течение долгого времени был английским послом при Неаполитанском дворе; с его женой Катериной, которую юный Бекфорд считал своим "добрым ангелом", его соединяла нежная дружба и переписка. Она скончалась в 1782 г.; в истории более известна вторая жена английского посла, знаменитая красавица Эмма Гамильтон, прославившаяся впоследствии как возлюбленная адмирала Нельсона.

Когда отец Бекфорда умер, его сыну, будущему писателю, было только 10 лет, и он оказался, говоря словами Байрона, "самым богатым сыном Англии". Годовой доход его владений в 1790-х годах, когда он достиг наивысшей точки, исчислялся суммой в 120-150 тыс. фунтов стерлингов. Мальчик воспитывался матерью в поместье Фонтхилл, близ г. Шефтсбери, в роскошном загородном замке, недавно отстроенном его отцом с модной пышностью. По желанию матери, не допускавшей, чтобы сын ее учился в "общественной школе" (public school), он получил домашнее образование. Кроме английского, латыни и греческого, он знал несколько европейских языков - французский, которым владел не хуже, чем английским, итальянский, испанский, португальский, по своему почину выучился двум восточным - арабскому и персидскому. Его обучали юриспруденции, философии, естественным наукам, но больше всего он расширил свой литературный горизонт широким и беспорядочным чтением. Он был также дилетантом в живописи и особенно в музыке; по преданию, игре на фортепиано его обучал восьмилетний Моцарт во время своих гастролей в Лондоне.

Вместо университета юный Бекфорд был отправлен в 1777 г. в заграничное путешествие в Швейцарию. С этого времени до конца 90-х годов он почти каждый год ездил за границу - в Швейцарию, Италию, Париж, с 1787 г. - в Португалию и Испанию. В промежутке между этими путешествиями он жил в Фонтхилле, устраивая в своем замке блестящие празднества для молодых людей своего круга, ухаживал за красавицей Луизой Бекфорд, женой своего двоюродного брата, которая в течение нескольких лет была его возлюбленной; переписка с ней из-за границы ярче всего отражает его сентиментально-романтические настроения.

В 1784 г., когда Бекфорду было двадцать четыре года, в его жизни произошло событие, наложившее печать на всю его дальнейшую судьбу. Его дружба с сыном лорда Бодуэна, Уильямом, мальчиком школьного возраста, обратила на себя общественное внимание. Существует предположение, что скандал был намеренно раздут политическими противниками Бекфорда, которому предстояло получить титул лорда - опасением возможности политической карьеры талантливого и богатого молодого человека в рядах политической оппозиции, к которой принадлежали друзья его отца. В конце концов Бекфорду, по настоянию семьи, пришлось покинуть Англию; за ним вскоре последовала в добровольное

изгнание и его молодая жена, скончавшаяся через два года в Италии.

Бекфорд всю остальную жизнь прожил одиноким; вопреки своему желанию он должен был отказаться от большой политической карьеры и, несмотря на свое баснословное богатство, остался навсегда окруженным холодом отчуждения и молчаливого осуждения того общества, к которому принадлежал по рождению. Он не был в полном смысле изгнанником из Англии, как Байрон, с судьбой которого его жизнь имеет известное внешнее сходство. Он мог периодически наезжать в Англию и во второй половине своей жизни окончательно поселился в своем поместье, сохранив, однако, привычки европейца-космополита, приобретенные в течение долгой жизни за границей.

Годы французской революции, с 1789 по середину 1793, Бекфорд с небольшими перерывами жил в Париже, где был свидетелем взятия Бастилии, июньских дней, процесса и казни короля. При существовавших тогда враждебных отношениях между торийской Англией и революционной Францией такое длительное проживание богатого англичанина в революционной столице не может не показаться удивительным. По-видимому, однако, Бекфорд рассматривался в якобинских кругах как человек, сочувствующий революции. Он дружил с якобинцем Сантерром, начальником национальной гвардии в дни казни Людовика XVI, и с членами секции "Брут" парижской коммуны, и в официальных документах эпохи о нем говорится, как об "англичанине, пользующемся общим уважением за свои революционные принципы". "Вдохновленный любовью к свободе, он собирался купить национальные именья, чтобы окончательно обосноваться во Франции, но, не найдя таких, которые пришлись бы ему по вкусу, вынужден был силою обстоятельств вернуться в Англию". В паспорте, который был выдан ему революционными инстанциями, Бекфорд был обозначен как "иностранец, с которым Франция расстается с сожалением".

Трудно сказать, насколько принципиальными и глубокими были в то время революционные симпатии Бекфорда. Следует, однако, отметить, что по своему мировоззрению он был, по-видимому, не только "вольномдумцем", но и атеистом. Уже в глубокой старости на смертном ложе он категорически отверг "утешения религии", отказавшись от причастия как по англиканскому, так и по католическому обряду.

Последним долговременным приютом Бекфорда за границей были Португалия и Испания. В первый раз он попал в Лиссабон еще в 1787 г. в конце первого периода своего изгнания из Англии с намерением ехать оттуда в Ямайку, в свои владения. Но план этого экзотического путешествия оказался неосуществленным, как и поездка на о. Мадейру, потому что Бекфорд испугался длительной и в то время небезопасной поездки через океан. Во второй раз он провел в Португалии и Испании два с половиной года (1793-1796). Он выстроил себе роскошный замок над морем, близ устья Тахо, развалины которого воспел впоследствии Байрон в "Чайльд-Гарольде". Поддерживая отношения с двором и правящими кругами, он надеялся, по-видимому благодаря своему богатству и личным связям, сделать здесь придворную и политическую карьеру, оказавшуюся невозможной на родине. Но враждебное отношение английской дипломатии к его планам не позволило ему и на этот раз найти удовлетворение своему честолюбию и жажде деятельности. Пребывание Бекфорда на Пиренейском полуострове обогатило его лишь новыми историческими и художественными впечатлениями, отразившимися в его письмах к друзьям.

По возвращении из Португалии в конце 1796 г. Бекфорд окончательно поселяется в своем поместье в Фонтхилле. Уже несколько лет он носился с мыслью вместо помещичьего дома своего отца построить себе дворец по своему вкусу, в модном готическом стиле, но во много раз превышающий по своим размерам, роскоши и красоте маленький замок "этого старого дурака Уолпола", как он презрительно называл своего предшественника. В качестве строителя Бекфорд еще в 1791 г. пригласил президента Британской Академии художеств, знаменитого архитектора Джемса Уайата, прославившегося в качестве мастера готических построек. С конца 1796 г. строительство развернулось полным ходом по плану Уайата, но с поправками, которые беспрестанно вносил нетерпеливый хозяин. Все место будущей постройки заранее было обнесено стеной высотой в 12 футов, препятствовавшей непрошеным визитам любопытных соседей и туристов. На строительстве было занято одновременно около 500 рабочих, частично снятых, по распоряжению Уайата, с королевских построек. Бекфорд был щедр в соответствии со своим богатством и много раз подчеркивал, что своей затеей он дает хлеб в голодное время бедному населению окружающих деревень. В 1800

г. постройка настолько подвинулась, что Бекфорд мог устроить в ней торжественный прием в честь адмирала Нельсона и старого Уильяма Гамильтона с его печально знаменитой женой. Строительство было полностью закончено лишь в 1807 г. В многочисленных готических залах "аббатства" Фонтхилл, в галереях, рефектории, часовне, жилых комнатах размещены были огромные художественные коллекции, собранные Бекфордом в его заграничных путешествиях: редкие картины, старинные книги, предметы роскоши всякого рода. Интересно, что в его библиотеке имелись почти все произведения поэта-художника Уильяма Блейка, его "Песни невинности", пророческие книги и гравюры к чужим произведениям. Блейк был в это время совершенно неизвестен своим современникам: Бекфорд, по-видимому, сам открыл его, почувствовав в мистической фантастике его гравюр родство со своими собственными восточными фантазиями.

В архитектурном плане "аббатства" в особенности выделялась небывалой высоты башня, идея которой, как и многое другое в постройке, подсказана была Бекфорду "Ватеком". Первоначально она имела высоту 300 футов, строилась очень поспешно и, недостаточно укрепленная, обрушилась через несколько месяцев. Тогда Бекфорд приказал воздвигнуть вторую башню такой же высоты, но более прочную. Эта последняя продержалась двадцать четыре года и упала уже в то время, когда Бекфорд, потеряв значительную часть своих средств вследствие неблагоприятной торговой конъюнктуры, вынужден был в 1823 г. продать "аббатство" Фонтхилл со всеми его коллекциями за сумму в 330 тыс. фунтов стерлингов другому представителю английской колониальной буржуазии, "набобу", недавно разбогатевшему на торговле с Индией.

Вынужденный покинуть Фонтхилл, Бекфорд провел последние годы жизни в небольшом поместье Ленсдаун, близ Бата, где он также вскоре занялся постройкой дома по своему плану, на этот раз в новом, классическом вкусе. И этот дом был окружен стеной и имел высокую башню, однако, в соответствии с значительно более скромными масштабами новой постройки, высотой на этот раз только в 130 футов. Сюда Бекфорд перевез свою библиотеку и остатки своих художественных коллекций, и здесь он прожил до глубокой старости, встречаясь с немногими близкими, одиноким осколком прошлых поколений.

Еще при жизни Бекфорда вокруг его имени стала складываться биографическая легенда. Его несметные богатства в годы жизни в Фонтхилле контрастировали с добровольной замкнутостью и одиночеством этой жизни. За стенами его замков, закрытых для любопытных глаз, подозревали чудеса или тайные преступления. Его долговременные путешествия за границу, в том числе в революционный Париж, и неясные страницы его биографии вызвали любопытство и кривотолки. Отщепенец от общества и полудобровольный изгнанник, он казался самым существованием своим и судьбой воплощением индивидуалистического протеста против моральных и общественных предрассудков дворянско-буржуазной Англии, с чертами вольнодумства и аморализма, несвободного от позы, но во многом родственного духу романтического индивидуализма более позднего времени. В этом свете "Ватек", подобно романтическим поэмам Байрона, мог восприниматься как личное признание.

Большинство литературных произведений Бекфорда, как и Уолпола, являются плодами досуга дилетанта, но дилетанта, гораздо более образованного, оригинального и талантливое, чем автор "Замка Отранто". Бекфорд также был мастером эпистолярного жанра, о чем свидетельствуют в особенности его ранние письма из Швейцарии, адресованные Луизе Бекфорд, леди Гамильтон и другим друзьям. Они проникнуты лиризмом, подернуты меланхолией, живо воспроизводят живописные красоты природы и встречи с людьми. Эти письма послужили, по-видимому, основным материалом для книги "Сны, мечты наяву и случайные происшествия" ("Dreams, Waking thoughts and Incidents"), напечатанной в 1783 г. в 500 экземплярах, которые молодой Бекфорд сам изъезжал из печати, по настоянию родных, после событий 1784 г., уничтожив в 1800 г. весь тираж, кроме нескольких экземпляров, из которых один сохранился в Британском музее.

Другая группа переработанных автором писем, содержащих, наряду с впечатлениями историко-биографического характера, более широкие картины жизни современного общества, была опубликована Бекфордом в старости в форме путевых очерков под заглавием: "Италия, с очерками Испании и Португалии" (1834). Затем последовали "Воспоминания о путешествии в монастыри Альбокаса и Баталья" (1835), в дальнейшем объединенные с ними в одной книге (1840). Несколько переизданий свидетельствуют о читательском интересе к этим

произведениям популярного в эпоху романтизма жанра.

Особый интерес представляют сочинения Бекфорда на восточные темы. Сохранилось десять переводов сказок типа "Тысяча и одной ночи", сделанных им в молодые годы (между 1780 и 1783 г.), по арабским рукописям, приобретенным из наследия лэди Монтегю ("Wortley-Montague MSS"), в чтении которых Бекфорду помогал, по его рассказам, "старый мусульманин Земир", поселившийся в его поместье. Переводы были сделаны на французский язык и все остались в рукописи, кроме "Истории Алрави", напечатанной по-английски в 1799 г. В сущности, большая часть представляет не переводы в точном смысле, а творческие переделки, в ряде случаев значительно отклоняющиеся от оригинала и стилизующие его в духе XVIII в. и собственных вкусов и идей Бекфорда. В этом смысле они являются первым опытом молодого писателя в манере "Ватека".

К ним примыкает относящаяся к тому же времени незаконченная рукопись арабской сказки "История Дарианок, юноши из страны Гу-гу". Как оригинальное произведение будущего автора "Ватека", эта сказка, также написанная по-французски, представляет значительный интерес.

Дарианок, родившийся в стране "неверных", - атеист и считает все религии одинаково "безумием". "Я не поклоняюсь никому, потому что не вижу ничего, чему следует поклоняться". За это он осужден скитаться по земле, пока воочию не убедится в существовании "высшего существа" - Аллаха. Эта завязка мотивирует обширный цикл чудесных и занимательных приключений героя, позволяющих развернуть ряд романтических картин ориентальной экзотики, интересующих автора не меньше, чем моральная цель его философского романа.

Жизненный опыт Дарианок не оправдывает оптимизма просветителей-деистов. "Всюду - несправедливые войны, отец вооружается против сына, брат отравляет брата - таковы дела королей Индии; ростовщики сдирают кожу со своих жертв, жены отравляют мужей - прибавьте изнасилования, кровосмешения и т. д. - все это показывает, что мы на хорошем пути". Герой заключает: "Если нет бога - существует дьявол, его дела я видел воочию".

Рассказ имеет моральную развязку: в конце своих странствий Дарианок попадает в страну добрых старцев, "почитателей солнца", и там он убеждается в существовании бога, творца вселенной. Но эта развязка имеет искусственный характер и не в состоянии перекрыть тех ярких картин царящего в мире зла, которые больше всего занимают фантазию художника.

"Ватек", единственное произведение Бекфорда, пережившее своего создателя, был написан в январе 1782 г. "за две ночи и один день", по рассказам автора. Однако это сообщение вызывает критику, как и аналогичные признания Уолпола и Казота: они должны были подчеркнуть спонтанный характер творческого воображения писателя, его романтического вдохновения. Во всяком случае, в апреле этого года Бекфорд продолжал работать над текстом своей "восточной повести", а в следующие годы - над тремя большими вставными новеллами, для которых она должна была служить обрамлением, в соответствии с жанровыми образцами арабских и персидских сказочных сборников.

Первоначальный текст "Ватека", подобно одновременным переводам, был написан по-французски, которым Бекфорд владел в совершенстве, - очевидно, в связи с европейской традицией "восточных повестей" - от Галана до Вольтера. Для перевода на английский язык он передал рукопись своему сотруднику Самуэлю Хенли, который, воспользовавшись личными затруднениями Бекфорда, связанными с событиями 1784 г., напечатал свой труд анонимно, без разрешения автора, как "перевод неизданной рукописи". Возмущенный Бекфорд, боясь потерять права на свое детище и не имея под руками французского оригинала, захваченного Хенли, немедленно заказал французский перевод с английского, который был напечатан в Швейцарии, в Лозанне, в конце 1786 г. Однако, неудовлетворенный стилем своего швейцарского переводчика, он заново отредактировал этот французский текст, воспользовавшись, по-видимому, помощью известного французского писателя Себастьяна Мерсье. Это второе французское издание, вышедшее в Париже уже в следующем, 1787 г., дает окончательный "авторский" текст "Ватека" и в дальнейшем много раз переиздавалось, как, впрочем, и английская версия Хенли.

"Ватек" существенным образом отличается от "восточных повестей" эпохи Просвещения, с которыми он связан исторически. Романтическая экзотика арабских сказок уже не является в нем абстрактной моральной аллегорией; фантастический сказочный мир приобретает самостоятельное художественное значение и реальные историко-этнографические черты. Знание арабских

первоисточников позволило Бекфорду воссоздать этот мир как бы изнутри; на фоне идеализованного быта арабских сказок он широко использовал мусульманскую мифологию, легенды и народные суеверия, с которыми ознакомил его английский перевод Корана (The Koran, Translated into English by George Sale. London, 1764) и словарь д'Эрбело, послуживший основой его научной осведомленности. Чудесное выступает у него как составной элемент этого быта, каким средневековые религиозные верования и суеверия явились бы в произведении писателя-христианина.

Основная особенность этого чудесного - в его "демонической" окраске: "тайны и ужасы" готического романа являются здесь в ориентальном облачении. Халиф Ватек вслед за своей матерью, колдуньей Каратис, постепенно все более подчиняется власти демонических сил, завлекающих его, после длинного ряда кровавых преступлений, в "пламенные чертоги" Эблиса, павшего ангела, Люцифера мусульманской мифологии, где он находит заслуженную кару. Жестокие, страшные и отвратительные сцены, участником которых он становится на пути своем к гибели, являются воплощением зла, царящего на земле. Гибель Ватека порождена его гордыней, тщеславием, жадной насладения, безграничным своеволием - его демоническим аморализмом. Однако в этом аморализме проступают черты индивидуалистического бунта против господствующей религии и морали, тех поисков запретных знаний и неизведанных наслаждений, которые роднят героя Бекфорда с немецким чернокнижником Фаустом, как и он, согласно легенде, продавшим душу дьяволу за призрак недоступного человеку безграничного знания и счастья. Эти черты романтического индивидуалиста, героического злодея и бунтаря, выступают в образе халифа особенно ярко, когда перед эбеновыми вратами, ведущими в чертоги Эблиса, он в последний раз отвергает увещания доброго гения и надежду на спасение: "Я пролил море крови, чтобы достичь могущества, которое заставит трепетать тебе подобных; не надейся, что я отступлю, дойдя до самой цели, или что я брошу ту, которая для меня дороже жизни и твоего милосердия. Пусть появится солнце, пусть освещает мой путь, мне все равно, куда он приведет". Когда халиф и его возлюбленная Нурониар спускаются в "дворец подземного пламени", "оба нечестивца шли гордо и решительно. Сходя при ярком свете этих факелов, они восхищались друг другом и в ослеплении своим величием готовы были принять себя за небесные существа". Соответственно этому и "грозный Эблис", злой демон, изображен Бекфордом в романтически идеализованном образе. "Он казался молодым человеком лет двадцати; правильные и благородные черты его лица как бы поблекли от вредоносных испарений. В его огромных глазах отражались отчаяние и надменность, а волнистые волосы отчасти выдавали в нем павшего Ангела Света. В нежной, но почерневшей от молний руке он держал медный скипетр, пред которым трепетали чудовищный Уранбад, африты и все силы тьмы". Адские муки, на которые осуждены обитатели его дворца - это неутолимый огонь, горящий в их сердцах, и они скитаются по пыльным и мрачным подземным чертогам, прижимая правую руку к сердцу, томимому неугасимым пламенем.

Однако при всем том образ Ватека отнюдь не идеализован. В нем подчеркнуты черты восточного деспота, жестокого, трусливого, сластолюбивого и прожорливого и в то же время смешного в своих претензиях на сверхчеловеческое величие и предсказанную планетами "удивительную будущность". Так, взойдя на высокую башню, построенную им в подражание легендарному Немвроду "из дерзкого любопытства, желающего проникнуть в тайны Неба", Ватек готов был "поклониться себе как богу, но, взглянув вверх, увидел, что звезды так же далеки от него, как и от земли".

Это ироническое снижение, ограничивающееся иногда насмешливой интонацией, унаследовано Бекфордом от просветительского романа, с его внутренне скептическим отношением к восточной тематике. Но в художественной ткани повести Бекфорда функция этого приема гораздо сложнее. Волшебное и романтическое сочетается в нем с иронической игрой и комическим гротеском, кровавые и безобразные жестокости - с сентиментально-идиллическими сценами. Искусство Бекфорда в своей сложности и противоречивости не укладывается в рамки рационалистической эстетики просветительского классицизма.

Обязательная моральная концовка присутствует и здесь. "Такова была и такова должна быть кара за разнузданность страстей и за жестокость деяний; таково будет наказание слепого любопытства тех,, кто стремится проникнуть за пределы, положенные создателем познанию человека; таково наказание самонадеянности, которая хочет достигнуть знаний, доступных лишь существам

высшего порядка, и достигает лишь безумной гордыни, не замечая, что удел человека - быть смиренным и невеждущим".

Однако эти силы добра не нашли себе убедительного воплощения в романе Бекфорда. Добрые карлики и эмир Факреддин с его напускным мусульманским благочестием изображаются автором не без иронии. А маленький Гюльхенруз и мальчишки, спасенные благодетельным гением из рук жестокого Гяура и проводящие века "в тихом покое и счастье блаженного детства", "в убежище вечного мира", остаются идиллическим эпизодом, который вряд ли может претендовать на глубокое мировоззренческое значение.

Следуя традиции жанра "восточных сказок", Бекфорд предполагал включить в рамки "Ватека" три вставные новеллы - историю трех принцев, осужденных на вечные муки в чертогах Эблиса, которые поочередно рассказывают халифу свою судьбу. При жизни автора эти новеллы оставались в рукописи и частично не закончены. Они написаны в стиле "Ватека", с присущим Бекфорду художественным мастерством, но беднее мыслью и более запутаны по своему сюжету; скитания героев, их преступления и любовные заблуждения составляют их главное содержание. В 1818 г. поэт Самуэль Роджерс слушал в чтении автора одну из них - "Историю принцессы Зулкаис и принца Калилы", повесть о преступной любви брата и сестры, показавшуюся ему "прекрасной". Байрон, которому он сообщил об этом, захотел познакомиться с рукописью, но Бекфорд отказал ему под каким-то предлогом. По-видимому, он медлил с публикацией, опасаясь обвинений в безнравственности. Повести были впервые опубликованы по рукописи в 1912 г. на французском языке с английским переводом издателя через много лет после смерти автора.

В свое время влияние Бекфорда сказалось прежде всего на развитии романтического ориентализма, в особенности в творчестве Байрона, который был поклонником не только "Ватека", но и личности его творца. Проезжая мимо берегов Португалии, он вспоминает о нем, как уже было сказано, в двух строфах "Чайльд-Гарольда" (песнь I, 22-23). В "Гяуре" реминисценции из "Ватека" особенно многочисленны: так, душевные муки героя сравниваются с участью грешника, осужденного скитаться, с неугасимым пламенем в сердце, вокруг престола Эблиса. Байрон восторгался ориентализмом "Ватека". "По точности и правильности костюма, красоте описаний и силе воображения эта повесть, восточная и возвышенная больше, чем какие-либо другие, оставляет далеко за собой все европейские подражания и обнаруживает столько признаков оригинального, что всякий, кто побывал на Востоке, с трудом поверит, что это не перевод".

Новым этапом в литературной судьбе "Ватека" было переиздание французской версии в 1876 г. поэтом-символистом Стефаном Маларме, сопроводившим свою публикацию биографией Бекфорда и высокой оценкой его художественного мастерства и поэтического стиля, способности "удовлетворить воображение предметами редкостными и грандиозными". Этим изданием датируется возрождение "Ватека" как произведения "современного", перекликающегося некоторыми сторонами с литературой европейского модернизма. С этим возрождением связан и перевод "Ватека" на русский язык писателя Бориса Зайцева, опубликованный издательством К. Некрасова в 1912 г. Перевод этот с небольшими редакционными уточнениями помещен в настоящем издании. Сопровождавший его литературный портрет автора "Ватека" известного критика-модерниста П. Муратова изображал Бекфорда, в свете биографической легенды, как современного эстета и декадента типа Оскара Уайльда.

Задачей настоящего издания, в котором "Ватек" Бекфорда выступает как фантастическая повесть периода предромантизма в одном ряду с "Замком Отранто" Уолпола и "Влюбленным дьяволом" Казота, является, в отличие от попыток ложной модернизации этих произведений, восстановление правильной исторической перспективы, которая может содействовать их более глубокому пониманию как произведений своего времени.